

**БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА**

под редакцией **Д. Б. Рязанова**

---

Карл Маркс

# НИЦЕТА ФИЛОСОФИИ

ОТВЕТ

НА

Философию Ницеты г. Прудона

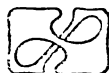
С предисловием и примечаниями

**Фридриха Энгельса**

и

двумя приложениями

Перевод **В. ЗАСУЛИЧ**



Литературно-Издательский Отдел  
Народного Комиссариата по Просвещению

ПЕТЕРБУРГ \* 1919



## ПРЕДИСЛОВИЕ.

Предлагаемое произведение было написано зимою 1846—47 г., когда для Маркса вполне уже выяснились, в основных чертах, его новые исторические и экономические воззрения. Появление Прудонской „Системы экономических противоречий или Философии пицеты“ дало ему повод развить эти воззрения, противопоставляя их воззрениям человека, которому предстояло занять с тех пор самое видное место среди современных французских социалистов. С того времени, когда они в Париже часто проводили целые ночи за обсуждением экономических вопросов, их пути расходились все дальше и дальше; новое произведение Прудона доказало, что между ним и Марксом образовалась непроходимая пропасть, которую уже невозможно было игнорировать, и Маркс в своем ответе констатировал этот безвозвратный разрыв.

Общее мнение Маркса о Прудоне читатель найдет в следующей ниже статье, появившейся в 16, 17 и 18 №№ берлинского „Социалдемократа“ 1865 г. Эта статья была единственной, написанной Марксом для названного издания; обнаружившаяся вслед затем попытка фон-Швейцера придать журналу феодальное и правительственное направление вскоре вынудила нас гласно отказаться от сотрудничества.

Для Германии именно в настоящий момент предлагаемое произведение имеет значение, совершенно непредвиденное самим Марксом. Мог ли он знать, что, побивая Прудона, он попадет в современного кумира Родбертуса, в то время неизвестного ему даже по имени?

Здесь не место распространяться об отношениях между Марксом и Родбертусом; случай поговорить об этом не замедлит, конечно, представиться. Теперь замечу только, что когда Родбертус обвиняет Маркса, что тот его „ограбил“ и „в своем Капитале прекрасно воспользовался, не цитируя“, его произведением „Zur Erkenntniss“, то в этих обвинениях он позволяет себе увлечься до клеветы, объяснимой лишь раздражительностью непризванного гения и его замечательным незнанием всего, совершающегося вне Пруссии, в особенности же социалистической и экономической литературы чужих стран. Ни эти жалобы, ни вышеупомянутое произведение никогда не попадались на глаза Марксу; из сочинений Родбертуса он был знаком только с его тремя „Социальными письмами“, да и то ни в каком случае не раньше 1858—59 г.г.

С большим основанием утверждает Родбертус в упомянутых письмах, что прудоновская „конституированная (установленная) стоимость“ открыта им *до* Прудона; но тут же он снова впадает в заблуждение, приписывая себе честь *первого* открытия. Как бы там ни было, критика Прудона распространяется, таким образом, и на Родбертуса, что вынуждает меня сказать несколько слов об его книге „Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen Zustände“, 1842 г., насколько это „основное“ произведение, кроме также заключающегося в нем (опять таки бессознательно) Вейтлинговского коммунизма, занято учреждениями прудоновских открытий.

Поскольку теории современного социализма вытекают из буржуазной политической экономии, все они, без различия направлений и почти без исключения, примыкают к теории стоимости Рикардо. На первых же страницах своих „Основ политической экономии“, обнародованных в 1817 году, Рикардо провозглашает следующие два положения: 1) что стоимость всякого товара определяется единственно и исключительно количеством труда, необходимого на его производство, и 2) что продукт совокупного общественного труда делится между тремя классами: землевладельцами (рента), капиталистами (прибыль) и рабочими (заработная плата). Из этих двух положений в Англии уже с 1821 года делались социалистические выводы, и притом иногда с такою последовательностью и решительностью, что ныне почти совершенно забытая и в значительной мере вновь открытая лишь Марксом английская социалистическая литература того времени оставалась непревзойденной до самого появления „Капитала“. Но об этом в другой раз. Итак, когда в 1842 году Родбертус сделал, в свою очередь, социалистические выводы из вышеупомянутых законов, для немца они составляли несомненно весьма значительный шаг вперед, но прослыть за новое открытие они могли разве только в Германии. На сколько не ново было подобное применение теории Рикардо, доказано Марксом по отношению к Прудону, страдавшему тем же самомнением.

„Кто хоть сколько-нибудь знаком с развитием политической экономии в Англии, — говорит Маркс, — тот не может не знать, что почти все социалисты этой страны добавляли в разное время уравнивательные (т.-е. социалистические) выводы к теории Рикардо. Мы могли бы указать Прудону на политическую экономию Гопкинса, 1822 года; Виллиама Томсона: *An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth, most conducive to Human Happiness*, 1827 г.; Т. Р. Эдмонда: *Practical, Moral and Political Economy*, 1828 г.; и проч., и проч., и проч., и еще четыре страницы таких и проч., и проч., и проч. Приведем слова только одного английского коммуниста Брай, из его интересного труда *Labour's Wrongs and Labour's Remedy*, Leeds 1839“. И одних приве-



денных далее Марксом цитат из Броя достаточно для устранения значительной части претензий Родбертуса на первенство.

В то время Маркс еще ни разу не посещал читальни Британского Музея. Кроме парижской и брюссельской библиотеки и моих книг и выписок, он просмотрел только те книги, которые удалось достать в Манчестере во время нашей шестинедельной поездки в Англию, летом 1845 года. Следовательно, в 40-х годах литература, о которой идет речь, вовсе не была еще так недоступна, как в настоящее время. И если она все-таки осталась неизвестной Родбертусу, то единственно благодаря его прусской провинциальной ограниченности. Он был истинным основателем специально прусского социализма и теперь за ним признано, наконец, это достоинство.

А тем временем Родбертуса не оставляли в покое даже в его любезной Пруссии. В 1859 году появилась в Берлине книга Маркса „Zur Kritik der politischen Oekonomie, erstes Heft“. Там, в числе других возражений экономистов против Рикардо, — приводилось следующее, второе по счету, 40 стр.

„Если меновая стоимость продукта равна содержащемуся в нем рабочему времени, то меновая стоимость рабочего дня равна его продукту. Иначе сказать, заработная плата должна быть равна продукту труда, а это противоречит действительности“. Маркс делает к этому следующее примечание: „Это, сделанное со стороны экономистов, возражение против Рикардо было подхвачено потом социалистами. Признавая теоретическую правильность формулы, они учили практику в противоречии с теорией и предлагали буржуазному обществу вывести воображаемые практические следствия из его теоретических принципов. Таким образом, по крайней мере, английские социалисты обратили формулу меновой стоимости Рикардо против политической экономии“. В том же примечании Маркс ссылается на „Философию Ниццеты“, которая в то время была еще повсюду в продаже.

Родбертус имел, следовательно, полную возможность узнать, были ли действительно новы открытия, сделанные им в 1842 г. Вместо того, он продолжает постоянно возвещать об них и считает их до такой степени единственными в своем роде, что ему и в голову не приходит допустить возможность со стороны Маркса таких же самостоятельных выводов, как и его собственные. Где там! Маркс „ограбил“ его, — его, которому тот же самый Маркс предоставлял все удобства для проверки того факта, что эти заключения по крайней мере в той необработанной форме, которую они сохраняют еще и у Родбертуса, были задолго до них обиходными высказаны в Англии!

Простейшее социалистическое применение теории Рикардо есть именно вышеизложенное. Многих повело оно гораздо дальше Рикардо в понимании происхождения и природы прибавочной

стоимости; — в числе других сюда нужно отнести и Родбертуса. Но, не говоря уже о том, что все достигнутое им в этой области было по меньшей мере также хорошо выражено до него, он, подобно своим предшественникам, не исследует содержания экономических категорий: труд, капитал, стоимость и проч., а без всяких рассуждений принимает их в той сырой, держащейся лишь за внешние проявления, форме, в какой он нашел их у экономистов. Этим он не только отрезывает себе всякую возможность дальнейшего развития — в противоположность Марксу, впервые сделавшему нечто из законов, о которых твердят вот уже 64 года, — но открывает еще себе, как увидим ниже, прямой путь в утопию.

Тот вывод из теории Рикардо, что рабочим, как единственным производителям, принадлежит весь общественный продукт, продукт их труда, ведет прямо к коммунизму. Но, как намекает и Маркс в вышеприведенных строках, экономически этот вывод формально ложен, так как является простым приложением морали к экономии. По законам буржуазной экономии большая часть продуктов *не принадлежит* производшим их рабочим. Когда мы говорим: это не справедливо, этого не должно быть — то такие приговоры не касаются экономии. Мы выражаем ими простое противоречие нашего нравственного чувства с данным экономическим фактом. Поэтому Маркс никогда не брал ничего подобного за основу своих коммунистических требований, а опирался на неизбежное, с каждым днем все яснее и яснее совершающееся на наших глазах, крушение капиталистического способа производства; говоря, что прибавочная стоимость состоит из неоплаченного труда, он просто констатирует факт. Но формально ложное в области экономии может за то оказаться истинным с точки зрения всемирной истории. Нравственное сознание массы, объявляющее несправедливым тот или другой экономический факт, как это было когда-то с рабством или с крепостным трудом, доказывает, что данный факт отжил уже свое время, что появились новые экономические факты, в силу которых он становится невыносимым и должен рушиться. Под ошибочной экономической формой может, следовательно, скрываться очень верное экономическое содержание. Подробнее говорить о значении и истории теории прибавочной стоимости здесь было бы неуместно.

Из теории стоимости Рикардо могли быть и были действительно сделаны еще другие выводы. Стоимость товаров определяется потребным на их производство трудом. А между тем, в нашем испорченном мире товары продаются то выше, то ниже своей стоимости, и причина этого явления кроется не в одних только колебаниях конкуренции. Прибыль имеет такую же сильную тенденцию достигать одного и того же уровня для всех капиталистов, какую имеют цены товаров сводиться, посредством спроса и предложения, к их рабочей стоимости. Но уровень при-

были высчитывается по отношению ко всей сумме капитала, вложенного в промышленное предприятие. А так как в двух различных отраслях производства, при годовом продукте, воплощающем равное количество труда, а следовательно и равные стоимости, и при одинаковой высоте заработной платы, затраченный капитал может быть, и часто бывает, в одной из отраслей вдвое или втрое больше, чем в другой, то отсюда вытекает открытое еще самим Рикардо противоречие между его законом стоимости и законом равного уровня прибыли. Если продукты обеих отраслей производства будут продаваться по их стоимости, то уровень прибыли будет различен; при равном же уровне прибыли продукты обеих отраслей производства не всегда могут продаваться по их стоимости. Мы имеем здесь, следовательно, антиномию, противоречие двух экономических законов, на практике разрешаемое, по мнению Рикардо (гл. I, отделы 4 и 5), обыкновенно в пользу прибыли и в ущерб стоимости.

Но, несмотря на свои зловещие свойства, определение стоимости Рикардо имеет одну сторону, привлекательную для сердца каждого порядочного буржуа. Оно с непреодолимой силой вызывает к его чувству справедливости. Справедливость и равенство прав — вот главнейшие устои, на которых буржуа восемнадцатого и девятнадцатого столетий желал бы воздвигнуть свое общественное здание на развалинах феодальных несправедливостей, неравенства и привилегий. Определение же стоимости товаров трудом, и совершающийся на основании этого мерилла стоимости свободный обмен продуктов труда между равноправными товаровладельцами, — это и есть, по замечанию Маркса, та реальная основа на которой покоится вся совокупность политической, юридической и философской идеологии современной буржуазии. Ее лучшие чувства должны глубоко оскорбляться испорченностью такого мира, где на словах труд признается мерилом стоимости товаров, на деле же этот основной закон справедливости, повидимому, ежеминутно нарушается самым бесцеремонным образом. И именно мелкий буржуа, выдающий, как конкуренция крупного производства и машин ежедневно все более и более обесценивает его честный труд (исполняемый, впрочем, учениками и подмастерьями), — именно этот-то мелкий производитель и должен всего сильнее вздыхать о таком обществе, где продукты обменивались бы, наконец, вполне и без всяких исключений, по их рабочей стоимости. Другими словами, он должен вздыхать о таком обществе, где действовал бы исключительно и неограниченно лишь один из законов товарного производства, но были бы устранены те условия, при которых он только и может действовать, а именно остальные законы товарного, а затем капиталистического производства.

Как глубоко проникла эта утопия в мысли современных

мелких буржуа — по положению или по воззрениям — доказывалась тем, что уже в 1831 году она была систематически развита Джоном Грэем в Англии, в тридцатых годах испытывалась там на практике и распространялась в теории; провозглашалась в качестве самоновейшей истины в 1842 году Родбертусом в Германии, в 1846 году Прудоном во Франции; затем, в 1871 году, Родбертус еще раз возвестил ее, как решение социального вопроса и вместе с тем как свое социальное завещание, а теперь, в 1884 году, эта же утопия находит себе приверженцев в той группе людей, которая старается эксплуатировать прусский государственный социализм, прикрываясь именем Родбертуса.

Сделанная Марксом критика этой утопии настолько исчерпывает все возражения, как против Прудона, так и против Грэя (см. Приложение II), что я могу ограничиться здесь лишь несколькими замечаниями о специально родбертусовской форме ее обоснования и изложения.

Как было уже сказано, Родбертус принимает ходячие определения экономических понятий как раз в той форме, в какой они достались ему от экономистов. Он не делает ни малейшей попытки к исследованию этих понятий. Стоимость для него есть „то значение, которое имеет данная вещь по отношению к другим вещам, в том случае, когда мы рассматриваем это отношение в количественном смысле, а самое значение вещи принимаем за мерило“. Это, выражаясь мягко, в высшей степени бессодержательное определение может еще в лучшем случае дать нам некоторое понятие о наружном виде стоимости, но по существу не говорит о ней абсолютно ни слова. А так как этим ограничивается все, что Родбертус мог сказать нам о стоимости, то очень понятны и его поиски за мерилом стоимости, лежащим вне ее самой. На целых тридцати страницах Родбертус — с той абстрактною силою мышления, которая вызывает бесконечное удивление г. Адольфа Вагнера — самым беспорядочным образом смешивает потребительную стоимость с меновою, а в результате этого исследования оказывается, что действительного мерила стоимости не существует и мы должны довольствоваться его суррогатом. Таким суррогатным мерилом мог бы служить труд, но лишь в том случае, если бы продукты равного количества труда всегда обменивались лишь на продукты равного же количества труда, независимо от вопроса о том, представляет ли такое условие уже существующий факт, или может быть достигнуто лишь путем известных мероприятий. Стоимость и труд остаются, следовательно, без всякой существенной связи, хотя первая глава целиком была посвящена объяснению и доказательству того, что товары „стоят труда“ и только труда.

Понятие о труде, опять-таки, без дальнейших рассуждений принимается в той самой форме, какую ему придали экономисты.

Мало того. Хотя Родбертус и указывает в двух словах на различие в интенсивности труда, тем не менее, труд в самом общем значении слова является у него „стоющим“ и следовательно мерилом стоимости, независимо от вопроса о том, совершается ли он при средних, нормальных общественных условиях или нет. Тратят ли производители десять дней или только один день труда на производство продукта, который может быть изготовлен в один день; работают ли они лучшими или худшими орудиями, употребляют ли свое рабочее время на производство общественно-необходимых или никому не нужных предметов, изготовляют ли, наконец, нужные предметы в количестве, соответствующем общественным потребностям — обо всем этом нет и речи. Труд есть труд, и продукты равного количества труда должны обмениваться одни на другие. Обыкновенно Родбертус всегда готов, кстати и некстати, становиться на национальную точку зрения и с высоты ее рассматривать отношения отдельных производителей; но на этот раз он самым тщательным образом избегает общественной точки зрения. И избегает он ее именно потому, что с первых же строк своей книги направляется прямехонько к утопии рабочих денег, а всякое исследование свойств труда, как создателя стоимости, воздвигло бы на его пути непроходимые преграды. Инстинкт оказался на этот раз значительно сильнее абстрактной мысли Родбертуса, для открытия которой, заметим мы мимоходом, необходимо самое конкретное безмыслие.

Переход к утопии совершается затем в одно мгновение. „Мероприятия“, обеспечивающие правильный и постоянный обмен продуктов по их трудовой стоимости, не представляют никаких затруднений. Другие утописты того же направления, от Грэя до Прудона, мучились над изобретением ведущих к этой цели, общественных учреждений. Они пытались, по крайней мере, решать экономические вопросы на экономической же почве, путем действий самих обменивающихся товаровладельцев. У Родбертуса дело решается гораздо проще. Как добрый пруссак, он апеллирует к государству, и реформа декретируется правительством.

Таким образом благополучно „конституируется“ стоимость, но ни в каком случае не право Родбертуса считается первым изобретателем этого конституирования. Наоборот, и Грэю и Брэю и многим другим приходили те же мысли, те же благочестивые пожелания таких мероприятий, при которых продукты обменивались бы при всех обстоятельствах, постоянно и неизменно по их рабочей стоимости и, задолго до Родбертуса, они уже наговорились о них до пресыщения.

Конституированию стоимости, по крайней мере (Родбертус скромно), одной части продуктов, государство выпускает свои важные рабочие деньги и ссужает ими промышленных капиталистов, которые выдают их в уплату рабочим, а эти последние

покупают на полученные бумаги продукты, возвращая, таким образом, бумажные деньги к их исходному пункту. Как восхитительно все это устроивается, мы должны услышать от самого Родбертуса.

„Что касается второго условия, то действительное присутствие в обращении обозначенных на билетах стоимостей достигается тем, что только лица, действительно доставившие продукты, получают билеты с точным обозначением количества труда, потраченного на изготовление их продуктов. Кто доставил продукт 2 дней труда, тот получает билет, на котором обозначено: 2 дня. Точным соблюдением этого правила при выдачах билетов и будет несомненно достигнуто это второе условие. Так как стоимость продуктов всегда совпадает, по нашему предположению, с количеством труда, потраченного на их изготовление, а это количество измеряется по масштабу обычных подразделений времени, то каждый, представивший продукт 2-х дней труда и получивший расписку в 2-х днях, имеет свидетельство или ассигновку на стоимость не большую и не меньшую той, которую он действительно представил. И так как, далее, только тот получает подобное свидетельство, кто действительно отдал в обращение свой продукт, то несомненно также, что отмеченная в расписке стоимость находится к услугам общества. Какой бы широкий круг ни охватывало разделение труда, во всяком случае, при строгом соблюдении этого правила, *сумма наличных стоимостей должна быть в точности равна сумме, засвидетельствованной на квитанциях.* А так как сумма засвидетельствованных стоимостей есть, вместе с тем, сумма выданных ассигновок и *необходимо должна совпадать с количеством наличных стоимостей, то все требования будут удовлетворены и ликвидация совершится правильно*“. (Стр. 166, 177).

Если до сих пор Родбертус имел несчастье вечно запаздывать со своими новыми открытиями, то на этот раз за ним нельзя не признать некоторой оригинальности. Еще никто из его конкурентов не отваживался выставлять в такой детски-наивной, наглядной, можно сказать, истинно померанской форме всю нелепость утопии рабочих денег. Так как под каждую расписку получается, видите ли, соответствующий по стоимости предмет, и так как ни один из этих предметов не выдается потребителю без предъявления им соответствующей расписки, то сумма расписок должна постоянно покрываться суммой продуктов; в результате не оказывается ни малейшего остатка, счет верен до последней секунды труда, и ни один посевший над цифрами главный правительственный кассен-рент-амтс-калькулятор не открывает в нем никакой ошибки. Чего же вам более?

В современном капиталистическом обществе каждый промышленный капиталист по своему усмотрению производит, как и что и сколько хочет. Но общественные потребности остаются для

него неизвестной величиной, как относительно качества и рода требуемых предметов, так и относительно их количества. То, чего сегодня не успевают наготовиться, может завтра же появиться в количестве, далеко превышающем спрос. Тем не менее, так или иначе, хорошо или худо, потребности, в конце концов, удовлетворяются, и производство направляется, говоря вообще, на требуемые предметы. Как же разрешается это противоречие? Путем конкуренции. А каким образом достигает этого разрешения конкуренция? Она просто и просто заставляет продавать ниже их трудовой стоимости все те товары, которые по своему роду или количеству не соответствуют общественной потребности данной минуты; этим окольным путем она дает производителям почувствовать, что их продукты или вообще не нужны, или доставлены в ненужном, излишнем количестве. Отсюда вытекают два вывода:

Во-первых, постоянные отклонения цены товаров от их стоимости составляют необходимое условие, при котором, и посредством которого, только и может проявляться самая стоимость. Только постоянными колебаниями конкуренции, а вместе и товарных цен, устанавливается свойственный товарному производству закон стоимости, и становится действительностью определение ее общественно-необходимым рабочим временем. И если цена, эта форма проявления стоимости, бывает обыкновенно несколько не похожа на самую стоимость, то последняя делит в этом случае судьбу большей части общественных отношений. Король тоже выглядит иначе, чем монархия, которую он представляет. Желать установить определение стоимости рабочим временем в обществе обменивающихся товаропроизводителей, и вообразить, что к этой цели можно придти, запрещая конкуренцию достигать определения стоимости посредством давления на цены, т.-е. устранив единственный путь, которым оно может быть достигнуто, — значит доказывать только, что вы усвоили себе, по крайней мере в этой области, обычное презрение утопистов к экономическим законам.

Во-вторых, в обществе обменивающихся товаропроизводителей, конкуренция, приводя в действие свойственный товарному производству закон стоимости, тем самым вносит в общественное производство единственную, возможную при данных обстоятельствах, организацию и порядок. Только посредством обесценения или дороговизны продуктов, отдельные производители узнают, сколько и чего нужно или ненужно обществу. Между тем, именно в уничтожении этого-то единственного регулятора и стремится та утопия, одним из защитников которой является Родбертус. И если мы спросим теперь, чем же гарантируется производство продуктов в количестве, не большем и не меньшем необходимого? Кто коручится нам, что мы не будем нуждаться в хлебе и мясе,

задыхаясь под горами свекловичного сахара и утопая в картофельной водке; что спасет нас от недостатка в штанах, для прикрытия нашей наготы, при чрезмерном изобилии в пуговицах для этих отсутствующих штанов? — то в ответ на эти вопросы Родбертус с торжеством укажет нам на свой знаменитый расчет, из которого видно, что за каждый излишний фунт сахара, за каждую непроданную бочку водки, за каждую пуговицу для несуществующих штанов выдана правильная расписка, и поэтому „все требования будут удовлетворены и ликвидация совершится правильно“. Кто этому не верит, тот пусть обратится к главному правительственному кассенрент-амтс-калькулятору, г-ну X. в Померании. Он проверял счет, нашел его правильным и, как человек еще ни разу в недочете по кассе не уличенный, заслуживает полного доверия.

Заметьте теперь наивность, с которой Родбертус думает, посредством своей утопии, устранить торговые и промышленные кризисы. Когда товарное производство достигает размеров всемирного рынка, то равновесие между единичными, руководящимися своим частным расчетом, производителями и рынком, более или менее неведомым для них по качеству и количеству своих потребностей, устанавливается всемирной бурей торгового кризиса <sup>1)</sup>. Помешать конкуренции указывать повышением и понижением цен на состояние всемирного рынка — значит совершенно завязать глаза единичным производителям. Изменять товарное производство в том смысле, чтобы производители совсем ничего не могли знать о состоянии рынка, для которого они производят — значит придумать такой остроумный способ лечения общества от кризисов, которому мог бы позавидовать сам доктор Эйзенгарт.

Теперь понятно, почему Родбертус определяет стоимость товара просто „трудом“, принимая во внимание разве лишь различные степени интенсивности труда. Если бы он исследовал, как и отчего труд создает и тем самым определяет и измеряет стоимости, он пришел бы к общественно-необходимому труду, — необходимому для отдельного продукта как по отношению к другим продуктам того же рода, так и по отношению к совокупности общественных потребностей. Это привело бы его к вопросу о том, каким образом производство единичных товаро-производителей приспособляется к совокупности общественного спроса,

<sup>1)</sup> Так было по крайней мере до последнего времени. С тех пор, как монополия Англии на всемирном рынке все более и более разрушается выступлением на него Франции, Германии и главным образом Америки, устанавливается, повидимому, новая форма приведения к равновесию. Предшествующий кризису период всеобщего процветания слишком долго заставляет себя ждать. Если его вовсе не окажется, то хронический засой с небольшими колебаниями обратится в нормальное состояние современной промышленности.



а вместе с тем сделало бы невозможной и всю его утопию. Он действительно предпочел „абстрагироваться“ на этот раз, и именно „абстрагироваться“ от самой сущности дела.

Теперь мы переходим, наконец, к тому пункту, в котором Родбертус предлагает нам нечто действительно новое, отличающееся его от всех многочисленных единомышленников его по вопросу о меновом хозяйстве с рабочими деньгами. Все они требуют этого менового учреждения ради уничтожения эксплуатации наемного труда капиталом. Все они, от Грэя до Прудона, согласны в том, что каждый производитель должен получать сполна всю рабочую стоимость своего продукта. Ни в каком случае, возражает Родбертус, наемный труд и его эксплуатация не остаются.

Во-первых, немыслимо такое состояние общества, при котором рабочий получал бы для собственного потребления всю стоимость своего продукта; из произведенного фонда всегда должны будут вычитаться издержки целого ряда экономически непроеизводительных функций, но необходимых функций, а следовательно и содержание исполняющих их лиц. Это совершенно верно — пока остается современное разделение труда. Но в таком — без сомнения тоже „мыслимом“ — обществе, в котором существует обязательный для всех производительный труд, все эти издержки исчезают сами собой. Однако, и тогда останется необходимость в общественном резервном фонде и фонде накопления; поэтому, хотя рабочие, т.-е. все, будут сообща владеть и пользоваться всей совокупностью своего продукта, но ни один из них в отдельности не будет потреблять „всего им произведенного“. Содержание экономически непроеизводительных функций на счет продуктов труда было предусмотрено и другими утопистами рабочих денег. Но те, по демократическому обычаю, предоставляли рабочим самим облагать себя налогом для этой цели, тогда как Родбертус, выграивавший в 1842 году свою социальную реформу по мерке тогдашнего Прусского государства, отдаст все дело в заведывание бюрократии, которая определяет и милостиво выдает рабочим часть их собственного продукта.

Во-вторых, поземельная рента и прибыль также должны остаться в целостности. И это потому, что землевладельцы и промышленные капиталисты тоже исполняют известные, общественно-полезные или даже необходимые, хотя экономически и непроеизводительные функции, и получают за них особого рода плату в виде поземельной ренты и прибыли — воззвание, как известно, ничуть не новое даже в 1842 году. Собственно говоря, они получают теперь чересчур уже много за свою небольшую службу, которую и выполняют-то довольно плохо; но Родбертусу нужен привилегированный класс по меньшей мере на ближайшие 500 лет, а потому (выражаясь правильно) современный уровень прибавочной стоимости должен остаться, хотя и не должен воз-

растать. Этот современный уровень прибавочной стоимости Родбертус полагает в 200<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, т.-е. при ежедневном двенадцати-часовом труде рабочим будут обозначать в их расписках не 12, а только 4 часа; стоимость же, произведенная в остальные 8 часов, должна делиться между землевладельцем и капиталистом. Рабочие расписки Родбертуса будут, следовательно, просто лгать. Но нужно быть именно владельцем дворянского поместья в Померании, чтобы вообразить, будто какой-нибудь рабочий класс согласится работать по двенадцати часов в сутки, а получать расписку в четырех часах. Капиталистическое производство становится невозможным, раз его фокусы, переведенные на такой наивный язык, являются ничем не прикрытым грабежом. Каждая, выданная рабочему, расписка была бы прямым призывом к восстанию и подходила бы под 110 § германского Имперского Уголовного Кодекса. Чтобы решиться выступить перед рабочими с такими бесстыдными предложениями, надо не иметь понятия об иных пролетариях, кроме фактически еще и теперь полукрепостных поденщиков дворянских поместий в Померании, где процветают еще бачи и палки, а все красивые женщины деревни составляют принадлежность барского гарема. Но нужно сознаться, что самыми яркими революционерами являются у нас именно консерваторы.

Зато, если наши рабочие выкажут достаточно кротости, и позволят уверить себя, что в течение тяжелого двенадцати-часового труда они, в действительности, проработали только четыре часа, то в награду за это им на-веки-вечные будет гарантировано, что их часть в их собственном продукте никогда уже не упадет ниже трети. О подобной, разыгранной на игрушечной трубе, мелодии будущего не стоит и разговаривать. Итак, все новое, внесенное Родбертусом в утопию обмена посредством рабочих денег, является простым ребячеством и ставит его, в качестве нововводителя, гораздо ниже его многочисленных соотаврищей, писавших, как раньше, так и позже его.

Книга Родбертуса — „Zur Erkenntniss etc.“ — в свое время несомненно имела значение. Разрабатывая теорию стоимости Рикардо, он сделал в известном направлении много-обещающее начало. Если оно было ново только для него и для Германии, то в общем все же стояло на одной высоте с лучшими произведениями его английских предшественников. Но это было именно только начало, из которого действительный вклад в теорию мог получиться лишь при дальнейшей основательной и критической работе. Этот дальнейший путь он сам себе отрезал, приступивши в то же время к развитию теории Рикардо в другом направлении, в сторону утопии. При этом им было потеряно первое условие всякой критики — отсутствие предвзятого мнения. Он шел к заранее определенной цели, он стал тенденциозным экономистом.

Раз запутавшись в своей утопии, он преградил себе всякую возможность научного прогресса. С 1842 года и до самой смерти, Родбертус вертится в одном и том же круге, постоянно повторяет одни и те же мысли, высказанные или намеченные уже в первом его произведении, чувствует себя непризнанным, считает себя ограбленным там, где нечего было грабить, и даже не без умысла до конца отказывается признать, что открыл он, в сущности, вещи уже давно открытые.

---

Едва ли не излишне обращать внимание читателей на то обстоятельство, что употребляемые в этом сочинении термины не совсем совпадают с терминологией „Капитала“. Так, например, вместо *рабочей силы*, здесь говорится о *труде*, об его покупке и продаже.

Фридрих Энгельс.

Лондон,  
23 октября 1884 г.

---

## ПИСЬМО КАРЛА МАРКСА К ПАВЛУ ВАС. АННЕНКОВУ.

Брюссель, 28 декабря 1846. — Rue d'Orleans 42, Предместье Намюр.

Дорогой г. Анненков!

Вы бы уже давно получили мой ответ на Ваше письмо от 1-го ноября, если бы мой книгопродавец не запоздал до прошлой недели с присылкою книги г. Прудона „Философия Ниццеты“. Я пробежал ее в два дня, чтобы получить возможность сейчас же сообщить Вам свое мнение о ней. Прочитав книгу очень быстро, я не могу входить в подробности и могу говорить лишь об общем впечатлении, которое она произвела на меня. Но если бы Вы пожелали, я бы мог войти и в подробности во втором письме.

Признаюсь Вам откровенно, книгу я нахожу плохою, и очень плохою. Вы и сами шутите в своем письме насчет „утолчка немецкой философии“, выставляемого г. Прудонем на показ в этом бесформенном и претенциозном произведении. Вы полагаете однако, что экономическое исследование в нем не подверглось заразе философской отравы. Я также весьма далек от того, чтобы складывать вину за ошибки экономического исследования на философию г. Прудона. Не потому дает г. Прудон ложную критику политической экономии, что он является обладателем смешной философии, но потому он и дает нам смешную философию, что не понял он современного социального строя в его сцеплении (engrenement), чтобы воспользоваться словом, которое г. Прудон заимствует, как и многое другое, у Фурье.

Почему г. Прудон говорит о боге, о всемирном разуме, о никогда не ошибающемся безличном разуме человечества, который от века равен самому себе и о котором нужно только иметь правильное понятие, чтобы получить обладание истиной? Почему становится он слабым гегелианцем для того, чтобы выступить в роли сильного ума?

Сам же он дает Вам ключ к загадке. Г. Прудон видит в истории известный ряд развивающихся социальных отношений; он улавливает прогресс, осуществляющийся в истории; он находит, наконец, что люди, взятые как личности, не ведают, что творят, что они в заблуждении насчет своего собственного движения, т.-е. что их общественное развитие представляется на первый взгляд вещью отличною, отдельною, независимою от их ин-

индивидуального развития. Объяснить этих фактов он не умеет, и тут для него находка — гипотеза всемирного проявляющегося в истории разума. Нет ничего легче, как изобретать мистические причины, т.-е. фразы, в которых нет здравого смысла.

Но г. Прудон, сознавая, что он ничего не понимает в историческом развитии человечества, — и он сознатель в этом, пользуясь звонкими словами о всемирном разуме, о боге и т. п. — не сознается ли он тем самым — такой вывод необходим, — что он не способен понять и экономическое развитие?

Что такое общество в какой бы то ни было форме? Продукт взаимодействия людей. Вольны ли люди по произволу выбирать ту или иную форму общества? Ничуть не бывало. Предположите, что дано известное состояние производительных способностей людей, и у вас получится определенная форма обмена (commerce) и потребления. Предположите, что дана известная стадия развития производства, обмена и потребления, и вы получите определенную форму общественного устройства, определенную организацию семьи, сословий, классов, словом, определенное гражданское общество. Предположите, что дано такое-то гражданское общество, и перед вами будет такой-то политический строй, который является лишь официальным выражением гражданского общества. Вот чего никогда не поймет г. Прудон, так как он думает, будто совершает и известное великое дело, апеллируя от государства к гражданскому обществу, т.-е. от официального резюме общества к официальному обществу.

Не нужно прибавлять, что люди не могут по произволу распоряжаться *своими производительными силами* — которые являются основой всей их истории, — потому что всякая производительная сила есть сила приобретенная, есть продукт некоторой предшествующей деятельности. Так что производительные силы суть результат практической энергии людей, но сама эта энергия ограничена условиями, в которых находятся люди, ограничена уже приобретенными производительными силами, тою общественной формой, которая существовала раньше их, которой они не создали и которая является продуктом предшествующего поколения. Благодаря тому простому факту, что всякое последующее поколение находит готовые производительные силы, приобретенные поколением предшествующим и служащие для него основой нового производства, — создается связь в истории людей, возникает история человечества, и она тем в большей мере является историей человечества, чем более развились и выросли производительные силы людей, а стало быть и общественные отношения людей. Неизбежный вывод: социальная история людей представляет лишь историю их индивидуального развития, причем безразлично, сознают ли они это или нет. Их материальные отношения образуют основу всех их отношений. Эти мате-

риальные отношения являются лишь необходимыми формами, в которых осуществляется их материальная и индивидуальная деятельность.

Г. Прудон смешивает идеи и вещи. Люди никогда не отказываются от того, что ими приобретено, но это не значит еще, что они никогда не отказываются от социальной формы, внутри которой они достигли известного уровня производительных сил. Совсем наоборот. Чтобы не лишиться уже достигнутых результатов, чтобы не потерять плодов цивилизации, люди принуждены изменять все свои традиционные общественные формы, как только способ их общественных отношений (*commerce*) перестал соответствовать приобретенным производительным силам. — Я употребляю здесь слово *commerce* в смысле более общем, чем немецкое *Verkehr*<sup>1)</sup>. — Напр., привилегии, институт цехов и корпораций, регламентационный режим средних веков были общественными отношениями, которые только и соответствовали приобретенным производительным силам и предшествовавшему общественному строю, из которого выросли эти учреждения. Под покровительством корпоративного и регламентационного режима накопились капиталы, развилась морская торговля, основались колонии, — и люди потеряли бы самые плоды всего этого развития, если бы пожелали сохранить формы, под покровом которых созрели эти плоды. И вот и разразились два громовых удара: революция 1640 и революция 1688 г.г. Все старые экономические формы, соответствовавшие им общественные отношения, политический строй, бывший официальным выражением старого гражданского общества, были разбиты ими в Англии. Таким образом экономические формы, при которых люди производят, потребляют, обменивают, являются формами *предходящими и историческими*. С приобретенными новыми производительными способностями люди изменяют свой способ производства, а со способом производства они заменяют и все экономические отношения, которые являются необходимыми отношениями лишь для данного определенного способа производства.

Всего этого не понял и, конечно, не доказал г. Прудон. Неспособный следить за действительным движением истории, г. Прудон дает нам фантазматорию, претендующую быть фантазматорией диалектической. Он не чувствует потребности говорить нам о XVII-м, XVIII-м, XIX-м веке, потому что его история происходит в туманной среде воображения, она витает превыше времен и пространств. Словом, это гегелианская погудка, а не история, это не несчастливо-мирская история — история людей, — это священная история, — история идей. С его точки зрения человек только орудие, которым пользуется для своего развития идея или вещ-

1) Торговля, обмен, сношения.

ный разум. *Эволюции*, о которых говорит г. Прудон, представляются эволюциями, развивающимися в мистических недрах абсолютной идеи. Если же вы разорвете занавес этого мистического языка, то окажется, что г. Прудон дает Вам лишь порядок, в каком экономические категории укладываются внутри его головы. Мне не потребуется много труда, чтобы доказать Вам, что это порядок очень беспорядочной головы.

Начинает свою книгу г. Прудон с диссертации насчет *стоимости*,—это его конек. На этот раз я не войду в рассмотрение этой диссертации.

Ряд экономических эволюций вечного разума начинается с *разделения труда*. Для г. Прудона разделение труда—очень простая вещь. Но разве кастовый строй не представлял известного разделения труда? А цеховой строй разве не был другим разделением труда? А разделение труда при мануфактурном строе, начавшемся в Англии в середине XVII-го века и закончившемся там в конце XVIII-го, не является ли оно чем-то совершенно отличным от разделения труда, которое приносила с собою крупная промышленность, современная индустрия?

Г. Прудон до такой степени далек от истины, что он упускает сделать даже то, что делают непосвященные экономисты. Говоря о разделении труда, он не чувствует потребности сказать вам о мировом *рынке*. Но что же? Разве разделение труда в XIV-м и XV-м веке, когда еще не было колоний, когда Америка еще не существовала для Европы, когда восточная Азия существовала для нее лишь через посредство Константинополя, разве разделение труда в то время не должно было целиком и вполне отличаться от разделения труда в XVII-м веке, когда уже развились колонии?

Это еще не все. Разве вся внутренняя организация народов, разве все их международные отношения представляют что-либо иное, как не выражение известного разделения труда? И разве не должны они изменяться вместе с изменением разделения труда?

Г. Прудон так мало повял в вопросе о разделении труда, что он не говорит нам даже об отделении города от деревни, которое в Германии, напр., произошло между девятым и двенадцатым веком. Таким образом, для г. Прудона оно должно представляться вечным законом, так как ни происхождения его, ни развития он не знает. И во всей своей книге он будет вам говорить об этом, как если бы это порождение известного способа производства и существовать будет до конца дней. Все, что г. Прудон рассказывает вам о разделении труда, представляет лишь резюме, и притом очень поверхностное, очень неполное резюме того, что до него было сказано Адамом Смитом и тысячу других.

Вторая эволюция это *машина*. Связь между разделением труда и машинами у г. Прудона совершенно мистическая. Каждый из способов разделения труда имел и свои характерные орудия производства. Напр., с волэвны XVII-го до середины XVIII-го века люди не все делали голыми руками. Они обладали орудиями труда и притом очень сложными, как, напр., станки, корабли, рычаги и т. д., и т. д.

Таким образом, нет ничего более смешного, как видеть в машинах следствие разделения труда вообще.

Скажу Вам еще мимоходом, что, не появив ничего в историческом происхождении машин, г. Прудон еще менее того понял в их развитии. До 1825 г. — эпохи первого мирового кризиса — Вы можете сказать, потребности потребления вообще развивались быстрее производства и развитие машин было вызвано, как следствие потребностей рынка. С 1825 г. изобретение и применение машин являются лишь результатом войны между хозяевами и рабочими. Да и то это верно только для Англии. Что же касается остальных европейских наций, то они принуждены были применять машины только вследствие конкуренции англичан, как на их собственном, так и на мировом рынке. Наконец, что касается Северной Америки, то там введение машин было вызвано и конкуренцией с другими народами и редкостью рабочих рук, т. е. несоответствием между населением и промышленными потребностями Северной Америки. Из этих фактов Вы можете заключить, какую проницательность обнаруживает г. Прудон, заклиная призрак конкуренции, как третью эволюцию, как антитезу машин!

Да, наконец, и вообще это сухая пеленость создавать из машин экономическую категорию наряду с разделением труда, конкуренцией, кредитом и т. и.

Машина представляет экономическую категорию не в большей мере, чем бык, который тащит плуг. Современное применение машин есть одно из отношений нашего современного экономического строя, но способ пользоваться машинами есть нечто совершенно отличное от самих машин. Порох остается одним и тем же, пользуетесь ли вы им, чтобы равить человека, или для того, чтобы лечить его раны.

Г. Прудон превосходит самого себя, когда он дает вырастать внутри своей головы конкуренции, монополии, налогу или государственной организации (*police*), торговому балансу, кредиту, собственности в цитируемом мною порядке. Почти все кредитные учреждения развились в Англии в начале XVIII-го века до изобретения машин. Общественный кредит был только новым способом увеличения налога и удовлетворения новых потребностей, создавшихся, когда ко власти пришел буржуазный класс. Наконец, *собственность* составляет последнюю кате-



торию в системе г. Прудона. В реальном мире наоборот: разделение труда и все остальные категории Прудона являются общезначимыми отношениями, совокупность которых и образует то, что в настоящее время называется *собственностью*: вне этих отношений буржуазная собственность представляет лишь метафизическую или юридическую иллюзию. Собственность какой-либо иной эпохи, напр., феодальная, развивается в ряду совершенно различных социальными отношений. Определяя собственность, как независимое отношение, г. Прудон совершает более, чем методологическую ошибку: он не доказывает, что не уловил связи, соединяющей все формы *буржуазного* производства, что не понял *исторического и преходящего* характера форм производства в определенной эпоху. Не видя в наших социальных институтах продуктов истории, не понимая ни их происхождения, ни их развития, г. Прудон естественно только и может подойти к ним лишь с догматической критикой.

Поэтому г. Прудон принужден прибегать к фикции, чтобы объяснить развитие. Он воображает, будто разделение труда, кредит, машины и т. д., он представляет себе, будто все это было изобретено к услугам его *libre fixe*, идеи равенства. Это объяснение наивно до крайности. Все эти вещи были изобретены для равенства, да вся беда лишь в том, что она обернулась против равенства. И в этом и все его рассуждение. Т.-е. он делает ни на чем неоснованное предположение, и так как действительное развитие и его фикция противоречат друг другу на каждом шагу, то он и заключает, что здесь имеется противоречие. Он лишь скрывает от нас, что противоречие-то имеется тут между его навязанными идеями и реальными движениями.

Таким образом, г. Прудон, главным образом по недостатку исторических познаний, не увидял, что люди, развивая свои производительные способности, т.-е. в процессе жизни, развивают известные отношения между собою, и что способ этих отношений неизбежно изменяется вместе с изменением и ростом этих производительных способностей. Он не увидел, что *экономические категории* представляют лишь *абстракции* этих реальных отношений, что истинами они являются лишь постольку существуют эти отношения. Поэтому он впадает в ошибку буржуазных экономистов, которые видят в этих экономических категориях вечные законы, а не законы исторические, являющиеся законами лишь для известного исторического развития, для развития, определенного производительными силами. Поэтому, вместо того, чтобы рассматривать политико-экономические категории как абстракции реальных, преходящих, исторических общественных отношений, г. Прудон, путем мистической перестановки, видит в реальных отношениях лишь воплощения этих абстракций. А сами эти абстракции от начала мира почивали в дремающем состоянии на лоне бога-обла

Но здесь наш милый г. Прудон впадает в великие умственные судороги. Если эти экономические категории суть эманации сердца божия, если они представляют скрытую и вечную жизнь людей, то каким образом происходит, во-первых, что развитие все-таки существует и, во-вторых, что г. Прудон не консерватор? Он объясняет вам эти очевидные противоречия целюю системой антагонизма.

Чтобы выяснить эту систему антагонизма, возьмем пример.

*Монополия* — хорошая вещь, потому что это экономическая категория, стало быть эманация бога. Конкуренция — хорошая вещь, потому что она тоже экономическая категория. Но что нехорошо, так это реальность монополии и реальность конкуренции. А еще хуже это то, что монополия и конкуренция взаимно пожирают друг друга. Что же тут делать? Так как эти две вечные мысли бога противоречат одна другой, то г. Прудону представляется очевидным, что на лоне у бога имеется равным образом и синтез этих двух мыслей и в этом синтезе зло от монополии уравновешивается конкуренцией и vice versa (обратно). Борьба этих двух идей приведет к тому, что в результате проявится лишь хорошая сторона. Надо вырвать у бога эту сокровенную мысль и затем применить, и тогда все устроится к лучшему; нужно открыть синтетическую формулу, скрытую в почти безличного разума человечества. Г. Прудон не колеблется ни минуты стать вестником этого откровения.

Но киньте на момент ваш взор на действительную жизнь. В современной экономической жизни вы найдете не только конкуренцию и монополию, но и синтез их, представляющий собою не формулу, а движение. Монополия порождает конкуренцию, конкуренция порождает монополию. Однакоже это уравнение, далеко не устраняя трудностей современного положения, как это воображают буржуазные экономисты, создает в результате еще более трудное и еще более запутанное положение. Таким образом, изменяя основу, на которой покоятся современные экономические отношения, уничтожая современный способ производства, вы уничтожаете не только конкуренцию, монополию и их антагонизм, но также и их синтез, движение, представляющее реальное уравновешение конкуренции и монополии.

А теперь и вам дам пример диалектики г. Прудона.

*Свобода* и *рабство* составляют антагонизм. Мне не нужно говорить ни о хороших, ни о дурных сторонах свободы. Что касается рабства, то мне нечего говорить о его дурных сторонах. Единственная вещь, которую следует выяснить, это хорошая сторона рабства. Речь идет не о косвенном рабстве, рабстве пролетария; речь идет о прямом рабстве, рабстве черных в Суринаме, в Бразилии, в южных частях Северной Америки.

Прямое рабство является осюю нашего современного индую-

стриализма так же, как и машины, кредит и т. д. Без рабства у вас нет хлопка, без хлопка у вас нет современной промышленности. Рабство придало ценность колониям, колонии создали мировую торговлю, мировая торговля является необходимым условием крупной машинной промышленности. Поэтому, до торговли неграми, колонии давали старому миру лишь очень мало продуктов и не изменяли заметным образом лица мира. Таким образом рабство является экономической категорией чрезвычайной важности. Без рабства Северная Америка — наиболее прогрессивный народ — превратилась бы в патриархальную страну. Вычеркните только Северную Америку из карты народов, и у вас получится анархия, полный упадок торговли и современной цивилизации. Но уничтожить рабство это и значило бы вычеркнуть Америку из карты народов. Поэтому рабство, в силу того, что оно является экономической категорией, и встречается с начала мира у всех народов. Современные народы сумели лишь замаскировать рабство у самих себя и открыто ввести его в Новый Свет. Как же подойдет к этому наш добрейший г. Прудон после таких размышлений о рабстве? Он станет искать синтеза между свободой и рабством, подлинной середины на половине, словом равновесия рабства и свободы.

Г. Прудон прекрасно понял, что люди производят сукно, холст, шелковые материи и великую заслугу свою понять такой пустяк! Но чего г. Прудон не понял, так это того, что соответственно своим способностям люди производят и *общественные отношения*, при которых они производят сукно и холст. Еще менее г. Прудон понял, что, производя соответственно своей материальной продуктивности свои общественные отношения, люди производят также и *идеи, категории*, т.-е. абстрактные, идеальные выражения этих самых общественных отношений. Таким образом, категории столь же мало вечны, как и отношения, которые они выражают. Они являются историческими и преходящими продуктами. Для г. Прудона, совсем наоборот, первичной причиной являются абстракции, категории. По его мнению история производится ими, а не людьми. И абстракция, категория, *взятая как таковая*, т.-е. отделенная от людей и их материальной деятельности, естественно, представляется ему бессмертной, неизменной, бесстрастной, она для него только бытие чистого разума, что означает по-просту лишь то, что абстракция, *взятая как таковая*, абстрактна, — дивная тавтология.

Таким образом, экономические отношения, рассматриваемые как категории, представляются г. Прудону вечными формулами, не имеющими ни начала, ни прогресса.

Скажем иначе: г. Прудон не утверждает прямо, что *буржуазная жизнь* для него *вечная истина*; он говорит это косвенно, обозначая категории, выражающие буржуазные отношения в

форме мысли. Он принимает продукты буржуазного общества за самопроизвольные существа, одаренные собственной жизнью, и вечные, когда они являются перед ним в форме категорий, мысли. Таким образом он не подымается над буржуазным горизонтом. Он оперирует над буржуазными мыслями, предлагая их вещи истинными, и ищет синтеза их, их равновесия, не замечая, что современный способ их уравнивания и есть единственно возможный.

В сущности он делает то же самое, что и все добрые буржуа. Все они говорят вам, что конкуренция, монополия и т. д. в принципе, т.-е. взяты как абстрактные мысли, суть единственные основания жизни, но что на практике они оставляют желать многого. Все они хотят конкуренции без гибельных последствий конкуренции. Все они хотят невозможного, т.-е. условий буржуазной жизни без необходимых последствий этих условий. Все они не понимают, что буржуазная форма производства есть форма историческая и переходящая совершенно так же, как была таковое феодальная форма. Эта ошибка происходит от того, что для них человек-буржуа представляется единственно возможным основанием всякого общества, от того, что они не представляют себе такого состояния общества, в котором человек перестал бы быть буржуа.

Г. Прудон, стало быть, неизбежно должен был оказаться *доктринером*. Историческое движение, потрясающее современный мир, разрешается для него в задачу открыть истинное равновесие, синтез двух буржуазных мыслей. Таким образом, путем лужавых мудрствований ловкий малый отрывает сокровенную мысль бога, единство двух изолированных мыслей, потоку лишь и являющихся изолированными, что г. Прудон изолировал из, отделив от практической жизни, от современного производства, представляющего сочетание выражаемых ими реальностей. На место великого исторического движения, рождающегося из столкновения между уже достигнутыми производительными силами людей и общественными их отношениями, которые уже не соответствуют этим производительным силам; на место страшных войн, которые готовятся между различными классами одной нации и между различными нациями; на место практической деятельности масс; на место насилия, которое одно лишь сможет разрешить эти столкновения; на место этого обширного, длительного и сложного движения г. Прудон ставит причудливое движение своей головы. Таким образом, историзм творит ученые, люди, способные вырвать у бога его истинную мысль. А меньшей братии остается лишь применять их откровения. Вы понимаете теперь почему г. Прудон является таким заклятым врагом всякого политического движения. Решение задач современности заключается для него не в общественной деятельности, а в диалектических колдованиях внутри его головы. Так как движущими силами для него

являются категории, то не следует изменять практической жизни, чтобы изменить категории. Совсем наоборот. Стоит лишь изменить категории, и изменение реального общества пройдет само собою, как следствие этого.

В своем желании примирить противоречия, г. Прудон даже не ставит себе вопроса о том, не следует ли разрушить самое основание этих противоречий. Он во всем походит на политического доктринера, который хочет и короля, и палату депутатов, и палату перов, как интегральные части общественной жизни, как вечные категории. Он ищет лишь новую формулу для уравнивания этих властей, которых равновесие как раз и состоит в современном движении, причем одна из этих властей является то победительницей другой, то ее рабой. Точно также и в XVIII-м веке масса посредственностей ломала себе голову над изысканием истинной формулы для уравнивания общественных сословий, дворянства, короля, парламентов и т. д., а на следующий день не оказалось ни короля, ни парламента, ни дворянства. Истинным равновесием среди всех этих антагонизмов и было ниспровержение всех общественных отношений, служивших основой для этих феодальных учреждений и для антагонизма между ними.

Так как г. Прудон, с одной стороны, признает данными вечные идеи, категории чистого разума, а с другой стороны, людей и их практическую жизнь, баковая, по его мнению, является лишь применением этих категорий, то вы найдете у него с самого начала *дуализм* жизни и идей, души и тела, — дуализм, который повторяется под различными формами. Вы видите теперь, что этот антагонизм представляет лишь несостоятельность г. Прудона понять не священное происхождение и не священную историю обожествляемых им категорий.

Мое письмо слишком затянулось, чтобы я мог говорить еще о смешной тире, которую ведет г. Прудон против коммунизма. Покажет, вы согласитесь, что человек, не понявший современного состояния общества, еще менее был в состоянии понять, как движение, стремящееся разрушить этот строй, так и литературные выражения этого революционного движения.

*Единственный пункт*, в котором я совершенно согласен с г. Прудоном, это его отвращение к социалистической сантиментальности. Еще до него я вызвал много вражды насмешками над овечьим, сапиментальным, утопическим социализмом. Но не владает ли г. Прудон на этот счет в странную иллюзию, противопоставляя свою сантиментальность мелкого буржуа — я имею в виду его декламация о семье, супружеской любви и т. п. банальности — социалистической сантиментальности, которая, напр., у Фурье, отличается гораздо большей глубиной, чем прегенциозные плоскости нашего добрейшего г. Прудона. Сам он столь хорошо чувствует ничтожество своих доводов, свою полную неспособность говорить

об этих вещах, что очертя голову впадает в ярость, раздражается восклицаниями, мечет *iraе hominis probi* (гнев честного человека), кипит, ругается и клянется, доносит, вопит о позоре, о чуме и бьет себя в грудь и величается перед богом и людьми, что он чист от социалистической скверны! Он не то что как критик зорко следит за сантиментальностями социалистов или за тем, что он принимает за сантиментальности. Нет, он как святой, как папа отлучает от церкви бедных грешников и воспеваает хвалу мелкой буржуазии и ее жалким любовным, патриархальным иллюзиям домашнего очага. И тут нет ничего случайного. Г. Прудон с головы до ног философ, экономист мелкой буржуазии.

Мелкий буржуа в передовом обществе и в силу необходимости своего положения, с одной стороны, делается социалистом, с другой, экономистом, т.-е. он ослеплен великолепием крупной буржуазии и сочувствует страданиям народа. Он одновременно и буржуа, и народ. Пред судом своей совести он гордится, что он беспристрастен, что он нашел подлинное равновесие, которое претендует на то, что оно не похоже на *juste-milieu* (серединку на половинке). Такой мелкий буржуа обожествляет *противоречие*, потому что противоречие есть основа его существования. Он весь — лишь общественное противоречие, воплощенное в действие. Он должен оправдать в теории то, чем он является на практике, и за г. Прудоном заслуга, что он явился научным истолкователем французской мелкой буржуазии. Это действительная заслуга, потому что мелкая буржуазия явится составною частью всех подготовляющихся социальных революций.

Я хотел бы иметь возможность послать Вам вместе с этим письмом мою книгу о политической экономии, но мне до сих пор не удалось напечатать этот труд и критические статьи о немецких философах и социалистах, о чем я Вам говорил в Брюсселе. Вы никогда не поверите, какие трудности встречает такое издание в Германии и со стороны полиции и со стороны издателей, которые сами являются заинтересованными представителями всех тенденций, на которые я паладаю. Что же касается нашей собственной партии, то она не только бедна, но, кроме того, значительная фракция немецкой коммунистической партии сердита на меня за то, что я противник ее утопий и ее декламаций.

Весь Ваш *Карл Маркс*.

P. S. Вы меня спросите, почему пишу я Вам на плохом французском вместо того, чтобы написать Вам на хорошем немецком? Это потому, что я имею дело с французским автором.

Вы меня очень обяжете, если не отложите на чересчур долгий срок Ваш ответ, чтобы я знал, попяли ли Вы меня под этой оболочкой варварского французского языка.<sup>1</sup>

## КАРЛ МАРКС О ПРУДОНЕ.

(Из „Социалдемократа“, 1865 г., №№ 16, 17 и 18. Письмо к редактору).

Лондон, 24 февраля 1865 г.

Милостивый Государь!

Я получил вчера письмо, в котором Вы требуете от меня обстоятельного отзыва о Прудоне. Недостаток свободного времени не позволяет мне исполнить Ваше желание. К тому же у меня нет под руками ни одного из произведений Прудона. Чтобы доказать Вам, однако, свою добрую волю, я набросал этот коротенький очерк. Вы можете делать в нем вставки, добавления, сокращения, — одним словом, все что хотите. („Мы сочли за лучшее“, замечает редакция, „напечатать статью без изменений“).

Я не припомню первых литературных попыток Прудона. Его ученическая работа о „всемирном языке“ показывает, с какой бесцеремонностью хватался он за такие задачи, для решения которых ему не доставало самых элементарных познаний.

Его первое произведение: „*Qu'est ce que la Propriété?*“ остается безусловно самым лучшим из всего им написанного. Оно составило эпоху, если не новостью своего содержания, то во всяком случае новизною той дерзости, с какою Прудон договаривает все без утайки. Собственность была уже, конечно, не только подвергнута разносторонней критике, но и утопически упрямлена в произведениях известных ему французских социалистов и коммунистов. По отношению к С.-Симону и Фурье Прудон представляет приблизительно то же самое, что Фейербах по отношению к Гегелю. Фейербах очень беден по сравнению с Гегелем. Тем не менее, явившись после Гегеля, он произвел переворот, оттенив некоторые неприятные для христианского чувства и очень важные для успехов критики пункты, оставленные Гегелем в мистическом голубеве. Если бы можно было так выразиться, я сказал бы, что в этом произведении Прудона преобладает еще сильная мускулатура слога. И именно слог составляет, по моему мнению, его главнейшее достоинство. Даже там, где Прудон воспроизводит давно известные вещи, чувствуется, что он дошел до них самостоятельно, что для него самого все сказанное им было ново и имело все значение новизны.

Вызывающая дерзость нападок на „святыя святых“ политической экономии, потные ума парадоксы, издаваемые над при-  
вычными буржуазными представлениями, резкие приговоры, даже  
ирония, проглядывающее там и сям глубокое и искреннее чув-  
ство возмущения против гнусности существующего порядка, револю-  
ционная искренность—все это элетризовало читателем „Qu'est  
ce que la Propriété?“, и дало при первом появлении книги силь-  
ный толчок всему обществу. В строго научной истории поли-  
тической экономии произведение это едва заслуживает быть упо-  
мянутым. Но такие сенсационные сочинения играют свою роль в  
науке, также как и в беллетристике. Достаточно назвать книгу  
Мальгуса о „Народонаселении“. В первом издании она представ-  
ляла из себя только „сенсационный памфлет“ и к тому же пла-  
тиал от начала до конца. А между тем, каким громадным тол-  
ком был этот *наскокъ на человеческий род!*

Будь у меня под руками произведения Прудона, я легко  
показал бы на нескольких примерах его *первую манеру* писать.  
В параграфах, которые представляются ему самыми важными,  
он подражает каптовскому обращению с лаптомнями (это был  
единственный немецкий фило-оф, знакомый ему в то время по  
переводам)—причем остается очень заметным, что и для него,  
как для Капта, разрешение антимоний имело значение, лежащее  
вне пределов человеческого разума, т.е. непонное для него са-  
мого.

Несмотря на всю кажущуюся страшную революционность  
книги „Qu'est ce que la Propriété?“, мы и в ней уже находим  
противоречие, в которое попал Прудон, с одной стороны, рас-  
сматривая общество глазами мелкого французского крестьянина  
и критикуя его с точки зрения этого последнего (позже — с точки  
зрения мелкого буржуа), а с другой стороны, выходя к тому  
же обществу масштабом, заимствованный им у социалистов.

Недостатки этого произведения заметны уже в самом заглавии.  
Вопрос был поставлен так неправильно, что настоящего ответа  
на него и быть не могло. *Античные „имущественные отношения“*  
исчезли, уступивши место *феодальным*, эти последние перешли  
в „*буржуазные*“. Сама история приложила, таким образом, свою  
критику к пережитым *имущественным отношениям*. Для Прудона  
дело шло в сущности лишь о существующей, *современной бур-  
жуазной собственности*. Но вопрос: что она такое, ответ мог быть  
найден лишь в критическом анализе „*политической экономии*“, охватывающей всю совокупность *имущественных отношений*, не в  
*юридическом* их выражении, не в качестве *соотношений воли лич-  
ностей*, а в их реальной сущности, т.е. в качестве *отношений  
производства*. Прудон втиснул всю совокупность этих экономи-  
ческих отношений в обычное юридическое представление о „*соб-  
ственности*“, „*propriété*“, поэтому-то он и не мог войти дальше



ответа Бриссо, лично о теми же словами и в подобном же произведении, еще до 1789 г.: „La propriété c'est le vol“.

В лучшем случае ответ этот имеет лишь тот смысл, что буржуазное юридическое понятие о „воровстве“ применимо также и к „честному“ доходу буржуа. Но так как „воровство“, т.е. насильственное нарушение собственности, заранее предполагает существование этой последней, то Прудон и запутался во всевозможных, ему самому неясных, хитросплетениях на счет *истинной буржуазной собственности*.

Во время моего пребывания в Париже, в 1844 году, я лично познакомился с Прудоном. Упоминаю здесь об этом, потому что на мне лежит, до известной степени, вина за его „софистикацию“ — „sophistication“ — как называют англичане подделку продуктов в торговле. Во время долгих, часто продолжавшихся по великим ночам, споров я, к большому вреду для Прудона, заразил его гегельянизмом, основательнее изучение которого, при непонимании немецкого языка, было для него недоступно. После моего изгнания из Парижа, начатое мною продолжал Карл Грэн. В качестве преподавателя немецкой философии, он имел передо мною то преимущество, что и сам не понимал в ней ровно ничего.

Не задолго до появления „Философии Ниццеты“ — второго значительного произведения Прудона, он сам сообщил мне о нем в подробном письме, где, между прочим, была такая фраза: „J'attends votre férule critique“. И действительно, моя критика не заставила себя долго ждать („Ниццета философии“, Париж, 1847 г.) и навсегда разрушила нашу дружбу.

Из сказанного здесь Вы уже видите, что на вопрос: „Что такое собственность?“ Прудон впервые отвечал в сущности только в своей „Философии ниццеты или Системе экономических противоречий“. И в самом деле, он начал изучать экономию лишь после появления своей первой книги, и тогда только открыл, что на выставленный им вопрос нужно отвечать не *обвинением, а анализом* современной „политической экономики“. Он старался, вместе с тем, диалектически изложить систему экономических категорий. Место неразрешимых кантовских „антиномий“ должны были занять гегелевские „противоречия“, как средство развития относящихся сюда понятий.

Чтобы выразить свое мнение об этой толстой двухтомной книге, я должен сослаться на свой ответ на нее. В этом ответе я показал, между прочим, как мало проник Прудон в тайны научной диалектики; до какой степени он, с другой стороны, разделяет иллюзии спекулятивных философов, говоря об экономических категориях, как о существовавших раньше всякой действительности вечных идеях, вместо того чтобы рассматривать эти категории, как *теоретические выражения тех исторических отношений производства, которые сами соответствуют определен-*

ным ступеням развития этого материального производства; там же я показал, как этот окольный путь снова приводит Прудона к точке зрения буржуазной экономии <sup>1)</sup>.

Кроме того, я показал еще, как недостаточны, отчасти просто школьны его познания в „политической экономии“, критику которой он предпринял, и как он, вместе с утопистами, гоится за „науку“, из которой, с помощью априорных умствований, должна быть выведена формула для „решения социального вопроса“, — вместо того, чтобы черпать свои знания в критическом изучении исторического движения, которое само создает материальные условия освобождения. Но в особенности я показываю там, что представление Прудона о меновой стоимости, этой основе всего учения, неясно, неверно, половинчато, и что он выдает за основание новой науки лишь утопическое применение теории стоимости Рикардо. Мой взгляд на общую точку зрения Прудона я резюмировала следующим образом:

„Всякое экономическое отношение имеет свою хорошую и свою худую сторону — это единственный пункт, в котором Прудон не побивает сам себя жесточайшим образом. Хорошая сторона выставляется, по его мнению, экономистами; дурная — обли-

<sup>1)</sup> Что такое отношения производства? Поясним это словами самого Маркса.

„Многообразные отношения, в которые становятся люди при производстве продуктов, не ограничиваются отношением их к природе. Производство возможно лишь при известном рода совместности и обожности действий производителей. Чтобы производить, люди вступают в определенные взаимные связи и отношения, и только внутри и через посредство этих общественных связей и отношений возникают те воздействия людей на природу, которые необходимы для производства.

В зависимости от характера производительных средств изменяются и общественные отношения производителей друг к другу, изменяются условия их совместной деятельности и участия во всем ходе производства. С изобретением нового военного орудия, огнестрельного оружия, необходимым образом изменилась вся внутренняя организация армии, равно как все те взаимные отношения, в которых стоят входящие в состав армии личности, и благодаря которым она представляет собою организованное целое; наконец, изменились также и взаимные отношения целых армий.

Общественные отношения производителей, общественные условия производства, меняются следовательно, с изменением и развитием материальных средств производства, т. е. производительных сил. Условия производства, в их совокупности, образуют то, что называют общественными отношениями, обществом, и притом обществом, находящимся на определенной исторической ступени развития, — обществом с определенным, отличительным характером. Такие своеобразные совокупности отношений производства представляют собою — аяничное (древнее) общество, феодальное (средневековое) общество, буржуазное общество, и каждый из этих видов общественных организаций соответствует, в свою очередь, известной ступени развития в истории человечества“. (См. „Наемный труд и капитал“).

Прим. Г. Плеханова.

чается социалистами. У экономистов он заимствует понятие о необходимости вечных экономических отношений; у социалистов — ту иллюзию, в силу которой они видят в зле только зло, вместо того, чтобы обратить внимание на его революционную, разрушительную сторону, которая вывергнет старое общество. Он соглашается и с теми и с другими, причем старается опереться на авторитет науки. Наука же сводится в его представлении к ничтожным размерам научной формулы; он является именно охотником за формулами. Сообразно с этим, Прудон льстит себя уверенностью, что сумел дать критику как политической экономии, так и коммунизма; — на самом же деле он стоит ниже их обеих. Ниже экономистов — потому что он, как философ, обладающий магической формулой, считает себя избавленным от необходимости вдаваться в чисто экономические подробности; ниже социалистов — потому что у него не хватает ни мужества, ни принципиальности для того, чтобы подняться выше буржуазного горизонта, хотя бы только в области умозрений... Он хочет, как муж науки, парить над буржуа и пролетариями, будучи лишь мелким буржуа, которого обстоятельства постоянно бросают из стороны в сторону между трудом и капиталом, между политической экономией и коммунизмом“.

Как ли резко звучит этот приговор, но я и теперь еще подпишусь под каждым его словом. К тому же нужно заметить, что в то время, когда я объявил книгу Прудона кодексом мелко-буржуазного социализма, и теоретически доказал справедливость своих слов, — и экономисты и социалисты объявляли Прудона еретиком, считая его за крайнего архи-революционера. Потому-то я и впоследствии никогда не присоединял своего голоса к крикам об его „измене“ делу революции. Он не виноват был в том, что, непонятый первоначально ни другими, ни самим собой, он не исполнил возлагавшихся на него неосновательных надежд.

В „*Философии Ницше*“ все недостатки прудоновского способа изложения бросаются в глаза самым неприятным образом в противоположность к „*Qu'est ce que la propriété?*“. Книга написана слогом, который французы называют *amoullé*, надутым. Высокопарная спекулятивная чепуха, долженствующая изобразить собою немецкую философию, постоянно является на сцену в тех случаях, когда ему изменяет галльское остроумие. Крикливый, самохвальский, задорный тон книги режет уши в особенности каким-то утомительным, фальшивым оттенком пророчества во имя науки. Вместо искреннего жара, которым проникнуто его первое сочинение, здесь во многих местах встречается искусственно подогретая декламация. К этому присоединяется отталкивающая лжеученость самоучки, утратившего естественную гордость самостоятельного мышления, и, в качестве выскочки в науке, считающего своей обязанностью казаться не тем, что он есть, гордиться тем,

чего у него нет. При своем мелкобуржуазном настроении он до неприличия грубо (при этом несстро, неглубоко и даже несправедливо) нападает на Каба, заслуживающего уважения своим практическим отношением к пролетариату, и, наоборот, он очень вежлив, напр., с Дюнуае (во всяком случае — „государственный советник“), хотя все заслуги последнего ограничиваются той комической важностью, с которой он проповедует в трех толстых томах невыносимо скучный ригоризм, следующим образом характеризованный еще Гельвециусом: „On veut que les malheureux soient parfaits“ (От несчастных требуют совершенства).

Февральская революция разразилась для Прудона совсем не кстати, так как он всего за несколько недель перед тем неопровержимо доказал, что „эра революций“ навсегда миновала. Его поведение в Национальном Собрании едва и не доказывает поименно существовавших отношений, то во всяком случае заслуживает всевозможных похвал. После июньских дней оно требовало большого мужества. Оно имело еще и те благие последствия, что Тьер в своем, опубликованном потом, возражении на предложение Прудона показал всей Европе, на какой мизерный детский казелизис опирается этот умственный столб французской буржуазии. Рядом с Тьером Прудон казался допотопным великаном.

Изобретение „марового кредита“ и основанного на нем „народного банка“ (banque du peuple) были последними „действиями“ Прудона в экономической области. В моей книге „Zur Kritik der politischen Oekonomie, выпуск I, Берлин, 1859 г.“ (стр. 59 — 64) читатели найдут доказательства того, что теоретической основой его воззрений на этот предмет послужило простое незнание первых элементов буржуазной экономики, и именно отношения *товаров к деньгам*, практическая же надстройка была только воспроизведением предшествующих, гораздо лучше обработанных планов. Что при известных политических и экономических обстоятельствах кредит может ускорить освобождение рабочего класса, подобно тому как он, в начале XVIII-го и затем в начале XIX-го столетий в Англии, способствовал переходу имущества из рук одного класса в руки другого, — это не подлежит ни малейшему сомнению, это разумеется само собою. Но считать за главную форму капитала — капитал, приносящий проценты, выдавать за основу общественного переустройства особый вид применения кредита, мнимую отмену процента — это фантазия, достойная лишь мелкого буржуа. Поэтому-то подобная фантазия и встречала себе радушный прием еще со стороны выразителей экономических стремлений английской мелкой буржуазии XVII-го столетия.

Полемика Прудона с Бастиа (1850 год) относительно процента на капитал стоит еще ниже „Философии Ниццетя“. Он ухитряется быть побитым даже Бастиа, и поднимает смелый шум в тех случаях, когда над ним берет верх его противник.

Несколько лет тому назад Прудон написал на конкурсе сочинение о „Налогах“, по предложению, если не ошибаюсь, Лозаннского правительства. Здесь пропадает даже последний след гениальности. Он является ничем иным, как *petit bourgeois tout pur* (чистокровным мелким буржуа).

Что касается политических и философских сочинений Прудона, то в них обнаруживается тот же полный противоречий, двойственный характер, что и в его экономических работах. К тому же они имеют чисто местное, французское значение. Его нападки на религию, церковь и т. д. были однако большой заслугой в то время, когда французские социалисты находили уместным видеть в религиозности знак своего превосходства над буржуазным вольтерьянством XVIII-го и немецким безбожием XIX-го века. Если Петр Великий варварством побил русское варварство, то и Прудон сделал недурно, борясь с помощью фразы против французского фразерства.

В качестве сочинений не только плохих, но плоских, однако, даже своей плоскостью вполне соответствующих мелкобуржуазной точке зрения, — нужно в особенности указать на его сочинение о *Сoup d'état*, в котором он кокетничает с Л.-Бонапартом, видимо стараясь оправдать последнего перед французскими рабочими, и, наконец, на его последнее сочинение против Польши, в котором он обнаруживает в честь царя цинизм, достойный кретина.

Прудона сравнивали часто с Руссо. Ничто не может быть ошибочнее этого. Он скорее похож на Ник. Ленге, книга которого „*Theorie des Lois Civiles*“ есть, впрочем, весьма гениальное произведение.

Прудон от природы имел склонность к диалектике. Но так как он никогда не понимал истинно-научной диалектики, то и не пошел далее софистики. В действительности это стояло в связи с его мелкобуржуазной точкой зрения. Подобно историку Раумеру, мелкий буржуа состоит из — „с одной стороны“ и „с другой стороны“. Таков он в своих экономических интересах, а *потому* таков же он и в своей политике, в своих религиозных, научных и художественных воззрениях. Таков он в своей морали, таков *in every-thing* (во всем). Он — олицетворенное противоречие. А если он к тому же, подобно Прудону, еще и остроумный человек, то он скоро научается играть своими собственными противоречиями и выкраивать из них, по временам, неожиданные, громкие, иногда скандальные, иногда блестящие парадоксы. Научный шарлатанизм и дух политического компромисса неразрывно связаны с такой точкой зрения. Перед вами только один руководящий мотив — тщеславие субъекта, и весь вопрос сводится для него, как и для всех тщеславных людей, лишь к вопросу об успехе минуты, о славе нынешнего дня. Таким образом, человек неизбежно теряет самый простой нравственный такт, который всегда удерживает

живал, например, Руссо от всякого. Хотя бы только кажущегося, компромисса с существующей властью.

Для характеристики современной Франции наша потомки станут, быть может, указывать на то обстоятельство, что Луи-Бонапарт был ее Наполеоном, а Прудон — ее Руссо-Вольтером.

Вы сами должны нести ответственность за то, что так скоро после смерти человека взвалили на меня обязанность его судьи.

Преданный Вам

**Карл Маркс.**

---

# НИЦЕТА ФИЛОСОФИИ

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

К несчастью г. Прудона, его странным образом не понимают в Европе. Во Франции за ним признают право быть плохим экономистом, потому что там его считают хорошим немецким философом. В Германии за ним, напротив, признается право быть плохим философом, потому что там его считают одним из сильнейших французских экономистов. Мы, в качестве немца и экономиста, намерены протестовать против этой двойной ошибки.

Читатель увидит, что в этом неблагодарном труде нам часто приходилось отказываться от критики г. Прудона, чтобы приниматься за критику немецкой философии и одновременно делать критические замечания по предмету политической экономии.

*Карл Маркс.*

Брюссель.  
15 июня 1847



Труд г. Прудона не просто какой-нибудь политико-экономический трактат и не какая-нибудь обыкновенная книга, это целая Библия; там есть все: „Тайны“, „Секреты, вырванные из недр Божества“, „Откровения“. Но, так как в наше время пророков критикуют строже, чем обыкновенных авторов, то мы считаем нужным предложить читателю пройти вместе с нами область сухой и туманной эрудиции книги „Бытия“, чтобы потом уже подняться с г. Прудоном в эфирные и плодоносные страны супрасоциализма (см. „Philosophie de la misère“, Prologue, p. 3, c. 20).

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

### НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ.

#### § 1. Противоположность потребительной и меновой стоимостей.

«Способность всех продуктов, создаваемых самою природой или производимых промышленностью, служить для поддержания человеческого существования, — носит особое название *потребительной стоимости*. Способность же их обмениваться друг на друга называется *меновою стоимостью*... Каким же образом потребительная стоимость делается меновою? Происхождение идеи стоимости (меновою) не было с достаточной тщательностью выяснено экономистами, поэтому нам в особенности необходимо остановиться на этом пункте. Так как многие нужные мне предметы существуют в природе в ограниченном количестве, или даже вовсе не встречаются, то я принужден способствовать производству того, чего мне недостает; а так как я не могу лично взяться за производство всех нужных мне разнообразных вещей, то я предложу другим людям, моим соотрудникам в различных отраслях труда, уступить мне часть производимых ими продуктов в обмен на продукт, производимый мною». (Прудон, Т. I, гл. 2).

Г. Прудон задается целью, прежде всего, уяснить двойственную природу стоимости, «различие в стоимости», процесс, который делает из стоимости потребительной стоимость меновую. Нам приходится остановиться, вместе с г. Прудоном, на этом акте *присуществления*. Вот каким образом совершается этот акт по мнению нашего автора.

Всяма большое количество продуктов не дается самою природою, а производится промышленностью. Раз потребности превосходят количество продуктов, доставляемых самою природою — человек оказывается вынужденным прибегнуть к промышленному производству. Что же такое эта промышленность по мнению г. Прудона? Каково ее происхождение? Человек, нуждающийся в очень большом количестве вещей «не может один производить такую массу различных вещей». Большое число потребностей, ожидающих удовлетворения, предполагает такое же число вещей, подлежащих производству; без производства нет продукта; а масса подлежащих производству вещей предполагает участие в нем более, чем одного человека. Но раз вы допускаете, что им занимается более, чем один человек, вы уже целиком допускаете производство, основанное на разделении

труда. Таким образом, предполагаемая г. Прудонем потребность предполагает уже разделение труда, во всем его целом. Предполагая разделение труда, вы вступаете в область обмена, а следовательно, и в сферу меновой стоимости. С таким же точно правом можно было бы с самого начала предположить существование меновой стоимости.

Но г. Прудон почему-то предпочитает сделать обход. Проследим его во всех его изворотах, чтобы затем все-таки возвратиться к его исходной точке.

Чтобы выйти из того порядка вещей, где каждый производит в одиночку, и чтобы прийти к обмену, «я обращаюсь», говорит г. Прудон, «к моим сотрудникам по различным отраслям труда». Итак, я имею сотрудников, которые все заняты различными отраслями труда, хотя ни я, ни все другие не выходим, по предположению г. Прудона, из одиночного и изолированного положения Робинзонов. Сотрудники и различные отрасли производства, разделение труда и обмен, им обусловливаемый, все это просто на просто падает с неба.

Резюмируем: я имею потребности, основывающиеся на разделении труда и обмене. Предполагая эти потребности, г. Прудон тем самым предполагает уже существование обмена и меновой стоимости, «возникновение» которой он именно хотел определить с большим старанием, чем другие экономисты.

Г. Прудон мог бы с таким же правом перевернуть порядок вещей, не извращая этим самым справедливости своих собственных заключений. Чтобы объяснить меновую стоимость, нужен обмен. Чтобы объяснить обмен, нужно разделение труда. Чтобы объяснить разделение труда, нужно существование потребностей, которые вызывают необходимость разделения труда. Чтобы объяснить эти потребности, нужно их «предположить», что не значит однако отрицать их, в противность первой аксиоме пролога г. Прудона: «Предполагать Бога значит отрицать его». (Пролог, стр. 1).

Теперь спрашивается, каким образом г. Прудон, принимая разделение труда за известное, объясняет меновую стоимость, которая все еще остается для него чем-то неизвестным?

«Человек» решаетея «предложить другим людям, своим сотрудникам по различным отраслям труда», установить обмен и различать потребительную стоимость от меновой. Соглашаясь на предложение признать это различие, сотрудники оставляют г. Прудону только одну «заботу»: констатировать совершившийся факт, отметить, «занести» в свой полигико-экономический трактат «возникновение идеи стоимости». Однако нач-то он все-таки должен выяснить «возникновение» этого предложения, он должен, наконец, сказать, каким образом этому одному человеку, этому Робинзону, внезапно пришла в голову мысль сделать «своим сотрудникам» предложение известного рода, и почему эти сотрудники приняли его предложение без всякого протеста.

Г. Прудон не входит в эти генеалогические подробности. Он просто принимает факт обмена и, так сказать, удостоверяет его приложением

исторической печати, представляя его в виде предложения, внесенного третьим лицом, старающимся установить этот обмен.

Вот образец «исторического и описательного метода» г. Прудона, выражающего свое величественное презрение к «историческому и описательному методу» всяких Адамов Смитов и Рикардо.

Обмен имеет свою особую историю, он прошел различные фазы развития.

Было время, как, например, средние века, когда обменивался только избыток, излишек производства над потреблением.

Было еще другое время, когда не только излишек, но все продукты целиком, все произведения промышленности перешли в область торговли, когда производство стало в полную зависимость от обмена. Как объяснить эту вторую фазу обмена — возведение меновой стоимости во вторую степень?

Г. Прудон, конечно, имеет на это готовый ответ: допустим, что известный человек «предложил другим людям, своим сотрудникам по различным отраслям производства», возвести меновую стоимость во вторую степень.

Наконец, пришло время, когда все, на что люди привыкли смотреть как на неотчуждаемое, делается предметом обмена и торга, становится отчуждаемым. В это время даже те вещи, которые до того были передаваемы другим, но не обмениваемы, были даруемы, но не продаваемы, были приобретаемы, но не покупаемы, — добродетель, любовь, убеждение, знание, совесть, — все стало, наконец, продажным. Это — время общей порчи, время всеобщей продажности, или — выражаясь языком полгиической экономии — время, когда всякая вещь, материальная или нравственная, сделавшись продажной стоимостью, выносится на рынок, чтобы найти там свою истинную оценку.

Каким образом объяснить эту новую и последнюю фазу обмена — возведение меновой стоимости в третью степень.

Г. Прудон имеет и на это готовый ответ: предположите, что человек «предложил другим людям, своим сотрудникам по различным отраслям производства», сделать из добродетели, любви и пр. продажную стоимость — возвести меновую стоимость в ее третью и последнюю степень.

Как видите, «исторический и описательный метод» г. Прудона на все годится, на все отвечает и все объясняет; так, напр., идет ли дело о том, чтобы объяснить исторически «возникновение экономической идеи», г. Прудон предполагает человека, который предлагает другим людям, своим сотрудникам по различным отраслям производства, совершить этот акт возникновения — и вопрос исчерпывается окончательно.

Отныне мы принимаем «возникновение» меновой стоимости за совершившийся факт; теперь нам остается только выяснить отношение меновой стоимости к потребительной. Послушаем г. Прудона.

«Экономисты очень ясно обнаружили двойственный характер стоимости; но они не выяснили с такою же отчетливостью ее *противоречивой природы*; здесь-то и начинается наша критика.. Недостаточно ука-

зять на этот изумительный контраст между меновой и потребительной стоимостью, контраст, на который экономисты привыкли смотреть, как на вещь очень простую: следует сверх того показать, что эта шимая простота скрывает в себе глубокую тайну, которую мы обязаны раскрыть... Выражаясь техническим языком, мы можем сказать, что потребительная и меновая стоимости находятся в обратном отношении одна к другой».

Если мы хорошо уловили мысль г. Прудона, то вот те четыре пункта, которые он беретя установить:

1) Потребительная и меновая стоимости составляют «поразительный контраст», противоположность друг другу.

2) Потребительная и меновая стоимости находятся в обратном отношении друг к другу, во взаимном противоречии.

3) Экономисты не видали и не понимали ни противоположности их, ни противоречия.

4) Критика г. Прудона начинается с конца.

Мы также начнем с конца, и чтобы снять с экономистов обвинения, возводимые на них г. Прудонем, мы предоставим говорить самим за себя двум довольно видным экономистам:

*Сисмонди*: «Торговля все приводит к противоположности между потребительною и меновою стоимостями» и т. д. (*Этюды*, т. II, стр. 162, Брюссельского издания).

*Лодердаль*: «Национальное богатство (потребительная стоимость) вообще уменьшается по мере того, как—с возрастанием меновой стоимости—увеличиваются индивидуальные богатства; и по мере того, как уменьшаются эти последние в силу понижения меновой стоимости, увеличивается национальное богатство». (*Исследования о природе и происхождении общественного богатства*, перевод Ларжангиля де Лавеза, Париж, 1808).

На противоположности между потребительною и меновою стоимостями Сисмонди построил свое главное учение, по которому уменьшение дохода пропорционально возрастанию производства.

Лодердаль основал свою систему на обратном отношении между двумя родами стоимости, и его доктрина была уже настолько популярна ко времени Рикардо, что последний мог говорить о ней, как о вещи всем известной. «Лишь благодаря смешению идеи меновой стоимости с идеей богатства (потребительной стоимости) некоторые могли думать, что, уменьшая количество необходимых, полезных или приятных для жизни вещей, можно увеличить богатство». (*Рикардо, Основания политической экономии*, перевод Констансио, с примечаниями Ж.-Б. Сэя, Париж, 1835 г., т. II, глава о стоимости и богатстве).

Мы видим, что экономисты ранее г. Прудона «указали» на глубокую тайну противоположности и противоречия. Посмотрим теперь, как г. Прудон объясняет, в свою очередь, эту тайну после экономистов.

Если спрос остается неизменным, то меновая стоимость продукта понижается по мере того, как увеличивается предложение; другими словами, чем изобильнее продукт по отношению к спросу, тем ниже его

меновая стоимость или его цена. *Vice versa*: чем слабее предложение по отношению к спросу, тем выше делается меновая стоимость или цена продукта; другими словами, чем более редки предлагаемые продукты по отношению к спросу, тем более возрастает их дороговизна. Меновая стоимость продукта зависит от его изобилия или от его редкости, но всегда по отношению к спросу. Предположите продукт более чем редкий, единственный в своем роде, — этот единственный продукт будет более чем изобилеи, он будет излишен, если на него нет спроса. Наоборот, предположите, что количество продукта увеличилось в миллионы раз, — и он все-таки будет редок, если он не удовлетворяет спроса, т.-е. если на него существует слишком большой спрос.

Эти истины почти банальны, а между тем нам нужно было их воспроизвести здесь, чтобы быть в состоянии понять тайны г. Прудона.

«Таким образом, следя за принципом до его крайних выводов, мы придем к следующему, самому логическому в мире, заключению: те вещи, потребление которых необходимо и количество которых безгранично, должны цениться ни во что, те же вещи, полезность которых равна нулю, а редкость достигает крайнего предела, должны иметь бесконечно большую цену. Наше затруднение довершается еще тем, что практика не допускает этих крайностей: с одной стороны, ни один производимый человеком продукт не может никогда достигнуть безграничного количественного увеличения; с другой стороны, наиболее редкие вещи нуждаются отчасти в том, чтобы представлять из себя полезности, без чего они не могли бы иметь какой бы то ни было стоимости. Потребительная и меновая стоимости остаются, таким образом, фатально связанными одна с другой, хотя по своей природе они постоянно стремятся исключить друг друга». (Т. I, стр. 30).

Чем же собственно довершается затруднение г. Прудона? Просто на просто тем, что он забыл о *спросе* и о том, что всякая вещь может быть редкою или изобильною, лишь постольку, поскольку на нее существует спрос. Оставляя спрос в стороне, он отождествляет меновую стоимость с *редкостью*, а потребительную с *изобилием*. В самом деле, говоря, что «вещи, полезность которых равна нулю, а редкость достигает крайних пределов», имеют безгранично большую цену, — он просто выражает ту мысль, что меновая стоимость есть только редкость. «Крайняя редкость и равная нулю полезность», это ничто иное как редкость в самом чистом виде. «Безгранично большая цена», — это максимум меновой стоимости, это меновая стоимость в своем наиболее чистом виде. Между этими двумя терминами он ставит знак равенства. Итак, меновая стоимость и редкость суть выражения однозначные. Приходя к этим мнимым «крайним выводам», г. Прудон в действительности доводит до крайности не вещи, а только термины, служащие для их выражения, и этим самым обнаруживает гораздо более способностей к риторике, чем к логике. Он находит свои первоначальные гипотезы во всей их наготе, в то время как думает, что обрел новые, вытекающие из них следствия. Тем же самым способом ему удается отождествить потребительную стоимость с изобилием, в его чистом виде.

Поставив знак равенства между меновой стоимостью и редкостью, между потребительной стоимостью и изобилием, г. Прудон очень изумляется, не находя ни потребительной стоимости в редкости и меновой стоимости, ни меновой стоимости в изобилии и потребительной стоимости; и так как он видит затем, что практика не допускает этих крайностей, то ему остается только верить в тайну. Он приписывает безгранично большую цену вещам, неимеющим покупателей, и он никогда не найдет их, если не перестанет отвлекаться от спроса.

С другой стороны, изобилие г. Прудона представляет из себя, как кажется, нечто совершенно произвольное. Он совершенно забывает, что есть люди, которыми создано это изобилие, и в интересах которых — никогда не терять из виду спроса. В противном случае, как мог бы сказать г. Прудон, что очень полезные вещи должны иметь чрезвычайно низкую цену или даже ничего не стоить. Ему, напротив, следовало бы заключить, что необходимо уменьшить изобилие, сократить производство вещей, обладающих значительной полезностью, если хотят возвысить их цену, их меновую стоимость.

Старинные хозяева виноградников во Франции, добывавшиеся издания закона, воспрепятствующего разведению новых виноградников, точно так же как и голландцы сожигавшие азиатские пряности и вырвавшие гвоздичные деревья на Молуккских островах — желали просто и просто уменьшить изобилие, чтобы этим возвысить меновую стоимость. Во все продолжение средних веков люди действовали по тому же самому принципу, ограничивая законами число подмастерьев, которых мог нанимать, и инструментов, которые мог употреблять один мастер. (Андерсон — *История торговли*).

Отожествивши изобилие с потребительной стоимостью и редкость с меновой, — ничего нет легче, как доказать, что изобилие и редкость находятся в обратном отношении друг к другу, — г. Прудон отождествляет затем потребительную стоимость с предложением, а меновую с спросом. Чтобы сделать антитезу еще более резкой, он изменяет терминологию, называя меновую стоимость — стоимостью, определяемую мнением. Таким образом борьба переходит на другую почву, и мы имеем, с одной стороны, полезность (потребительную стоимость, предложение), а с другой стороны — мнение (меновую стоимость, спрос).

Как примирить эти два противоположные фактора? Как согласить их? Можно ли даже найти общую им обоим точку сравнения?

«Конечно, восклицает г. Прудон, такая точка есть: это — *свободная воля*. Цена, которая является результатом этой борьбы между спросом и предложением, между мнением и полезностью, не может быть выражением вечной справедливости».

Г. Прудон развивает эту антитезу далее:

«В качестве *свободного покупателя* я ставлюсь судьей моих потребностей, судьей удобства, доставляемого предметом, судьей цены, которую я *хочу* дать за него. С другой стороны, вы, в качестве *свободного производителя*, — господин над средствами производства и, следовательно, вы можете сокращать ваши издержки». (Т. I, стр. 42).

А так как спрос или меновая стоимость тождественны с мнением, то г. Прудон говорит:

«Доказано, что именно *свободная воля* человека и вызывает противоположности между потребительной и меновой стоимостями. Как разрешить эту противоположность, пока будет существовать свободная воля? И как пожертвовать этой волей, не жертвуя человеком». (Т. I, стр. 51).

Таким образом выхода нет. Существует лишь борьба между двумя, так сказать, несоизмеримыми силами, между полезностью и мнением, между свободным покупателем и свободным производителем.

Взглянем на вещи несколько ближе.

Предложение не представляет собою исключительно полезности, спрос не представляет исключительно мнения. Разве тот, кто спрашивает, не предлагает также какого-нибудь продукта, или денег, — знака, служащего представителем всех продуктов? А предлагая их, разве он не представляет, согласно самому г. Прудону, полезности или потребительной стоимости?

С другой стороны, разве тот, кто предлагает, не спрашивает, в свою очередь, какого-либо продукта, или денег, — знака, представляющего все продукты? И не делается ли он, таким образом, представителем мнения, стоимости, определенной мнением, или меновой стоимости?

Спрос есть в то же время предложение, предложение есть в то же время спрос. Таким образом, антитеза г. Прудона, отождествляющая предложение с полезностью, а спрос с мнением, покоится лишь на пустой абстракции.

То, что г. Прудон называет потребительной стоимостью, другими экономистами с таким же точно правом называется стоимостью, определяемой мнением. Мы укажем только на Шторха (Курс политической экономии, Париж, 1823, стр. 88 и 89).

По словам Шторха, *потребностью* называется вещь, в которой мы чувствуем потребность; *стоимостью* — вещь, которой мы приписываем стоимость. В большинстве случаев, вещи имеют стоимость только потому, что они удовлетворяют потребностям, вызываемым мнением. Мы можем изменить свое мнение о наших потребностях, поэтому и полезность вещей, выражающая только отношение этих вещей к нашим потребностям, также может изменяться; даже естественные потребности постоянно изменяются. В самом деле, какая разница между предметами, служащими главной пищей у разных народов!

Борьба завязывается не между полезностью и мнением: она завязывается между продажной стоимостью, которую предлагает спрашивающий, и продажной стоимостью, которой требует предлагающий. Меновою стоимостью продукта является каждый раз равнодействующая этих, одна другой противоречащих, оценок.

В последнем счете, спрос и предложение ставят лицом к лицу производство и потребление, но производство и потребление, основанные на обмене между отдельными личностями.



Полезность предлагаемого продукта не безусловна. Она определяется потребителем. И если даже за продуктом признана полезность, то он все-таки не представляет одной только полезности. В течение процесса производства продукт обменивался на все издержки производства, как, напр., на сырой материал, рабочую плату и проч., словом, на такие вещи, которые имеют продажную стоимость. Следовательно, продукт представляет в глазах производителя сумму продажных стоимостей. Производитель предлагает не только полезный предмет, но сверх того, и в особенности, **продажную стоимость.**

Что касается спроса, то он действителен только в том случае, если сопровождается средствами обмена. Эти средства, в свою очередь, суть продукты, продажные стоимости.

Таким образом, в предложении и спросе мы находим: с одной стороны, — продукт, на производство которого затрачены продажные стоимости, и необходимость продать этот продукт; с другой стороны, — средства, на приобретение которых также затрачены продажные стоимости, и желание купить.

Г. Прудон противопоставляет *свободного покупателя свободному производителю*; и тому и другому он придает чисто метафизические качества. Потому-то он и говорит: «Доказано, что именно *свободная воля* человека вызывает противоположность между потребительной и меновой стоимостями».

Производитель принужден продавать, если только он производит в обществе, основанном на разделении труда и на обмене, — а такова именно гипотеза г. Прудона. Г. Прудон делает производителя господином средств производства; но он согласится с нами, что не от *свободной воли* зависит обладание средствами производства. Даже более: значительная часть этих средств состоит из продуктов, получаемых производителем из-за границы, и при современном способе производства он не свободен даже на столько, чтобы производить продукты в желательном ему количестве. Настоящая степень развития производительных сил принуждает его производить в таких или иных размерах.

Потребитель не более свободен, чем производитель. Его мнение основывается на его средствах и потребностях. И те и другие определяются его общественным положением, которое зависит, в свою очередь, от всей совокупности общественной организации. Конечно, и работник, покупающий картофель, и содержанка, покупающая кружева, следуют своему собственному мнению. Но различие их мнений объясняется различием положений, занимаемых ими в обществе, а положения их являются продуктами общественной организации.

На чем основывается вся система потребностей — на мнении или на всей организации производства? Чаще всего потребности вытекают прямо из производства или из порядка вещей, основанного на производстве. Почти все движение всемирной торговли обуславливается влиянием потребностей не личного потребления, а производства. Точно также, выбирая другой пример, мы спросим — не предполагает ли нужда в нотариу-

сах существования данного гражданского права, представляющего только выражение известного развития собственности, т.-е. производства?

Г. Прудон не довольствуется устранением только что упомянутых элементов из отношения между спросом и предложением. Он доводит абстракцию до последних пределов, силавляя всех производителей в *одною* производителя, всех потребителей в *одною* потребителя, и заставляя этих двух химерических лиц вступать в борьбу друг с другом. Но в действительном мире вещи происходят иначе. Конкуренция в рядах предлагающих, а также и конкуренция в рядах спрашивающих составляют необходимый элемент борьбы между покупателями и продавцами, борьбы, результатом которой является продажная стоимость.

Устранивши из своих рассуждений издержки производства и конкуренцию, г. Прудон с большим удобством может приводить к абсурду формулу предложения и спроса.

«Предложение и спрос, говорит он, суть ни что иное, как две обрядовые формы, служащие к тому, чтобы поставить лицом к лицу потребительную и меновую стоимости и вызвать их обращение. Это два электрические полюса, соединение которых должно вызывать явление средства, называемое *обменом*». (Т. I, стр. 49 и 50).

С таким же правом можно было бы сказать, что обмен есть только «обрядовая форма», нужная для того, чтобы поставить лицом к лицу потребителя и предмет потребления. С таким же правом можно было бы сказать, что все экономические отношения суть только «обрядовые формы», с помощью которых совершается непосредственное потребление. Предложение и спрос представляют собою отношения данного производства, не более не менее, чем индивидуальные обмены.

Итак, в чем же состоит вся диалектика г. Прудона? В замене понятий о потребительной и меновой стоимости, о спросе и предложении — такими абстрактными и противоречивыми понятиями как редкость и изобилие, полезность и мнение, *один* производитель и *один* потребитель, причем оба последние оказываются *рыцарями свободной воли*.

К чему же хотел он предти таким путем?

К тому, чтобы сохранить возможность ввести впоследствии один из них же самым выкинутых элементов, — и именно, *издержки производства* — в качестве *синтеза* между потребительной и меновой стоимостями. Благодаря этому приему издержки производства и получают в его глазах значение *синтетической* или *конституированной* (установленной) *стоимости*.

## § II. Стоимость конституированная или стоимость синтетическая.

«Стоимость (меновая) есть красугольный камень экономического здания». Стоимость «конституированная» (установленная) есть красугольный камень системы экономических противоречий.

Что же это за «*конституированная стоимость*», составляющая все открытие г. Прудона в политической экономии?

Раз признана полезность продукта, труд становится источником его стоимости. Мерилом труда служит *время*. Относительная стоимость продукта определяется продолжительностью труда, который нужно было употребить на их производство. Цена есть монетное выражение относительной стоимости продукта. Наконец, *конституированная стоимость* продукта есть просто на просто стоимость, определяемая количеством воищенного в нем труда.

Как Адам Смит открыл *разделение труда*, так г. Прудон в свою очередь претендует на открытие «*конституированной стоимости*». Конечно, в этом открытии нет «*чего-либо несмысленного*», но нужно иметь в виду, что вообще нет ничего *несмысленного* ни в одном открытии экономической науки. Чувствуя всю важность своего открытия, г. Прудон старается однако уменьшить его значение, «чтобы успокоить читателя насчет своих претензий на оригинальность и примирить с собою умы, но своей робости мало склонные к восприятию новых идей». Но оценка всего сделанного каждым из его предшественников для определения стоимости — волей-неволей приводит его к откровенному признанию того обстоятельства, что ему принадлежит в этом деле наибольшая часть, львиная доля.

«Синтетическая идея стоимости была уже отчасти понята Адамом Смитом. . . Но у Адама Смита эта идея стоимости была совершенно интуитивной, а общество не изменяет своих привычек в силу веры в догадки: оно убеждается только фактами. Нужно было, чтобы указанная нами антиномия выразилась более заметным и отчетливым образом; Ж.-В. Сэй был ее главным истолкователем».

Итак, вот вся история открытия синтетической стоимости: у Адама Смита неопределенная догадка, у Ж.-В. Сэя — антиномия, у Прудона — истина, конституирующая и «конституированная». И пусть не забывают этого: все другие экономисты, от Ж.-В. Сэя до Прудона, не шли дальше антиномии. «Невероятно, что столько разумных людей могли в течение 40 лет выбиваться из сил в борьбе против такой простой идеи. Но нет, *стоимости сравниваются между собою, не имея ни одного пункта сравнения, никакой единицы меры*, — вот что решились утверждать экономисты XIX столетия против всех и вопреки всем, вместо того, чтобы усвоить революционную теорию равенства. *Что скажет об этом потомство?*» (Т. I, стр. 68).

Спрошенное столь внезапно, потомство начнет с того, что запутается в хронологии. Ему необходимо придется задаться вопросом: разве Рикардо и его школа не были экономистами XIX столетия? Система Рикардо, основанная на том принципе, что «относительная стоимость товаров исключительно зависит от количества труда, требуемого на их производство», восходит к 1817 году. Рикардо — глава целой школы, господствующей в Англии со времени реставрации. Его учение служит строгим, безжалостным выражением всей английской буржуазии, которая, в

свою очередь, служит типом современной буржуазии. «Что скажет об этом потомство?» Оно не скажет, что г. Прудон вовсе не знал Рикардо, ибо он говорит о нем, говорит долго, постоянно возвращается к нему и кончает тем, что обзывает «путаницей» все учение этого экономиста. Если когда-либо потомство вмешается в этот вопрос, то оно скажет, может быть, что г. Прудон, боясь шокировать англофобию своих читателей предпочел сделаться ответственным издателем идей Рикардо. Но как бы то ни было, оно найдет очень наивным, что г. Прудон выдает за «революционную теорию будущего» то, что Рикардо научным образом изложил, как теорию настоящего буржуазного общества; потомство удивится, что г. Прудон принимает таким образом за разрешение антиномии между полезностью и меновой стоимостью ту самую формулу, которую Рикардо и его школа задолго до него представляли, как научную формулу одной стороны антиномии: *меновый стоимости*. Но, раз на всегда, оставим потомство в стороне, и приведем г. Прудона на очную ставку с его предшественником Рикардо. Вот выписка из этого автора, резюмирующая его учение о стоимости:

«Мерой *меновый стоимости* служит не полезность, хотя последняя необходима для существования первой». (Основы политической экономии и т. д. Французский перевод Констансио, Париж 1835, т. I, стр. 3).

«Предметы, обладающие полезностью, заимствуют свою меновую стоимость из двух источников: их редкости и количества труда, необходимого для их производства. Есть предметы, стоимость которых зависит только от их редкости. Так как никакие усилия не в состоянии увеличить их количества, — то стоимость их не может быть понижена путем увеличения их предложения. Таковы драгоценные статуи, картины и пр. Их стоимость зависит единственно от средств, вкуса и каприза людей, желающих обладать подобными предметами». (Т. I, стр. 4 и 5) «Такие вещи составляют однако лишь самую незначительную часть всего количества обмениваемых ежедневно товаров. Громадное большинство предметов, на которые существует спрос, составляет плод промышленности, а потому и количество их можно увеличивать почти в безграничной степени не только в одной стране, но и в нескольких, всякий раз, когда только пожелаю затратить труд, нужный для их производства». (Т. I, стр. 5). «На этом основании, когда мы говорим о товарах, об их меновой стоимости принципах, регулирующих их относительную цену, мы имеем в виду только те из этих товаров, количество которых может увеличиваться трудом человека, а производство — поощряется конкуренцией, и не затрудняется никакими стеснениями». (Т. I, стр. 5).

Рикардо цитирует А. Смита, который, по его мнению, «определил с *большой точностью* первоначальный источник всякой меновой стоимости» (Смит, гл. 5, т. I); затем он прибавляет:

«Что труд действительно есть источник стоимости всех вещей, за исключением тех, количество которых не может быть увеличено промышленностью до желаемых размеров, это — положение, имеющее огромную важность в политике-экономической науке; ибо нет источника, из кото-

рого вытекало бы столько ошибок, из которого рождалось бы столько различий в научных взглядах, как неопределенный и неточный смысл соединяемый со словом *стоимость*». (Т. I, стр. 8). Если меновая стоимость вещи определяется воплощенным в ней количеством труда, то отсюда следует, что всякое увеличение в количестве труда должно необходимо увеличивать стоимость вещи, на добывание которой этот труд затрачен, и точно также всякое уменьшение труда должно уменьшать его цену». (Т. I, стр. 9).

Затем Рикардо упрекает А. Смита в том, что он:

1) «Дает стоимости другое мерило: иногда стоимость хлеба, иногда количество труда, которое можно купить за эту вещь» и пр. (Т. I, стр. 9 и 10).

2) «Принимает безусловно самый принцип, и однако ограничивает его приложение первобытным и грубым состоянием общества, предшествующим накоплению капиталов и обращению земель в частную собственность». (Т. I, стр. 21).

Рикардо старается доказать, что поземельная собственность, т.-е. рента, не может изменить относительной стоимости продуктов, и что накопление капиталов оказывает лишь переходящее и колеблющееся действие на относительные стоимости, определяемые сравнительным количеством труда, употребленного на их производства. Для защиты этого положения он создает свою знаменитую теорию поземельной ренты, разлагает капитал на его составные части и, в конце концов, не находит в нем ничего кроме накопленного труда. Затем, он развивает целую теорию заработной платы и прибыли; доказывает, что колебания заработной платы и прибыли, — которые повышаются и понижаются в обратном отношении друг к другу, — не влияют на относительную стоимость продукта. Он не игнорирует того влияния на эту стоимость, которое может быть оказано накоплением капиталов, различием в их природе (капиталы основные и капиталы оборотные), равно как и тем или другим уровнем заработной платы. Эти вопросы главным образом и занимают Рикардо.

«Никакое сбережение в труде, говорит он, не совершается никогда без того, чтобы не понизить относительную стоимость товара<sup>1)</sup>, — все равно, будет ли это сбережение касаться труда, необходимого для производства самого продукта, или труда, необходимого для создания капитала, употребляемого в этом производстве» (Т. I, стр. 48.) «Следовательно, поскольку день труда будет давать одному то же самое количество рыбы, а другому то же самое количество дичи, естественный уровень цен

<sup>1)</sup> Рикардо определяет, как известно, стоимость товара „количеством труда, потребного на его изготовление“ Но форма обмена, господствующая при всяком товарном производстве, а следовательно, и при капиталистическом способе производства, приводит к выражению этой стоимости не прямо в количестве труда, а в количестве какого-нибудь другого товара. Стоимость товара, выраженная в определенном количестве другого товара (будет ли это деньги или нет — все равно), называется у Рикардо относительной стоимостью.  
Ф. Энгельс.

этих продуктов остается постоянно одинаковым, каковы бы ни были затем изменения в заработной плате и прибыли, и несмотря на все влияние накопления капиталов». (Т. I, стр. 32). «Мы смотрим на труд, как на основу стоимости предметов и на количество труда, необходимого для их производства, как на мерило, определяющее те относительные количества товаров, которые должны даваться в обмен друг за друга; но мы не думаем утверждать, что в рыночной цене товаров не существует случайных и временных уклонений от этой первоначальной и естественной цены». (Т. I, стр. 105). «В последнем счете, цену товаров определяют издержки производства, а не отношение между предложением и спросом, как это часто утверждали». (Т. II, стр. 253).

Лорд Лодердаль развил изменения меновой стоимости, согласно закону предложения и спроса, или редкости и изобилия по отношению к спросу. По его мнению, стоимость вещи может увеличиваться, когда количество ее уменьшается или когда спрос на нее увеличивается; она может уменьшаться в случае увеличения количества или уменьшения спроса. Таким образом, стоимость вещи может изменяться под влиянием восьми различных причин, а именно: четырех причин, относящихся к самой вещи, и четырех причин, относящихся к деньгам, или ко всякому иному товару, служащему мерою ее стоимости. Вот возражение Рикардо:

«Стоимость продуктов, на которые имеет монополию частное лицо или торговая компания, изменяется согласно закону, установленному лордом Лодердалем: она понижается в той же пропорции, в какой возрастает предложение и повышается вместе с стремлением покупателей к приобретению этих продуктов: их цена не имеет необходимой связи с их естественной стоимостью. Что же касается вещей, по отношению к которым возможна конкуренция между продавцами, — вещей, количество которых может в известных пределах увеличиваться, — то их цена зависит, в последнем счете, не от условий спроса и предложения, но от увеличения или уменьшения издержек производства». (Т. II, стр. 159).

Мы предоставляем самому читателю сравнить точный, ясный и простой язык Рикардо с риторическими упражнениями, к которым прибегает г. Прудон, для определения относительной стоимости рабочим временем, потраченным на производство.

Рикардо показывает нам истинный ход буржуазного производства, ход, устанавливающий стоимость. Г. Прудон, отвлекаясь от этого действительного хода, «выбивается из сил», чтобы изобрести новые способы переустройства мира по новой будто бы формуле, представляющей лишь теоретическое выражение существующего в действительности хода производства, так хорошо изображенного Рикардо. Рикардо берет за точку отправления современное общество, чтобы показать нам, каким образом оно устанавливает (конституирует) стоимость; г. Прудон берет за точку отправления «установленную» (конституированную) стоимость, чтобы *установить* новый социальный мир, при посредстве этой стоимости. По мнению г. Прудона, *установленная* стоимость должна сделать круг и *превратиться* в *устанавливающую* по отношению к миру, уже целиком устано-

вленному именно по этому способу оценки. Для Рикардо определение стоимости рабочим временем есть закон меновой стоимости: для г. Прудона оно есть синтез потребительной и меновой стоимостей. Теория стоимости Рикардо есть научное истолкование современной экономической жизни; теория стоимости г. Прудона есть утопическое объяснение теории Рикардо. Рикардо констатирует истинность своей формулы, выводя ее из всех экономических отношений и объясняя с ее помощью все явления, даже те, которые на первый взгляд кажутся противоречащими ей, как, напр., рента, накопление капиталов и отношение заработной платы к прибыли, именно это и делает из его теории научную систему. Г. Прудон, вновь — и притом лишь посредством совершенно произвольных гипотез — открывший эту формулу Рикардо, принужден затем изыскивать отдельные экономические факты, которые он извращает и фальсифицирует с целью употребления их в дело в качестве примеров, в качестве существующих уже приложений, в качестве начала реализации его преобразовательной идеи. (См. наш § 3, Приложение установленной стоимости).

Перейдем теперь к выводам, которые делает г. Прудон из конституированной (определенной рабочим временем) стоимости.

— Данное количество труда равняется продукту, созданному тем же количеством труда.

— Всякий день труда стоит другого дня труда, т.-е. взятый в равном количестве труд одного рабочего стоит труда другого рабочего: между ними нет качественной разницы. При равном количестве труда, продукт одного обменивается на продукт другого. Все люди суть наемные работники, и притом работники, получающие равную плату за равное количество труда. Обмен совершается на началах полного равенства.

Представляют ли собою эти заключения естественные, строгие следствия стоимости «конституированной», или определенной рабочим временем?

Если относительная стоимость товара определяется количеством труда, требуемого на его производство, то отсюда само собою следует, что относительная стоимость труда, или заработная плата, точно также определяется количеством труда, необходимого для производства самой заработной платы. Заработная плата, т.-е. относительная стоимость или цена труда, определяется, следовательно, количеством труда, нужного для производства всего того, что требуется для поддержания жизни рабочего. *Уменьшите издержки производства шляп*, — и цена их упадет, в конце концов, до уровня их новой естественной цены, хотя рядом с этим спрос мог бы и удвоиться, утроиться или учетвериться. *Уменьшите издержки содержания человека*, понижая естественную цену пищи и одежды, которые поддерживают жизнь, и вы увидите, что, в конце концов, заработная плата упадет, хотя спрос на рабочие руки может возрасти в значительной степени». (Рикардо, т. II, стр. 253).

Конечно, язык Рикардо циничен до невозможности. Ставить на одну доску издержки производства шляп и издержки на содержание человека, это значит превращать человека в шляпу. Но не будем слишком громко кричать о цинизме. Цинизм заключается в вещах, а не в словах,

выражающих их положение. Французские писатели, как, напр., г.г. Дроз, Бляки, Росси и другие, доставляют себе невинное удовольствие, доказывать свое превосходство над английскими экономистами путем соблюдения приличий «гуманного» языка; но если они ставят цинизм языка в упрек Рикардо и его школе, то делают это лишь потому, что им неприятно видеть, как изображаются во всей их грубой наготе современные экономические отношения, и разоблачаются тем самым тайны буржуазии.

Резюмируем: труд, будучи сам по себе товаром, измеряется в качестве такового количеством того труда, который необходим для производства труда-товара. А что нужно для производства труда-товара? Для этого нужно именно то рабочее время, которое затрачивается на производство предметов, необходимых для поддержания труда, т.-е. для доставления работнику возможности жить и воспроизводить свою расу. Естественная цена труда есть ничто иное, как минимум заработной платы <sup>1)</sup>. Если рыночная цена заработной платы поднимается выше ее естественной цены, то случается это именно потому, что возведенный г. Прудон в принцип закон стоимости перевешивается колебаниями в отношении спроса к предложению. Но минимум заработной платы остается тем не менее центром, к которому тяготеют рыночные цены заработной платы.

Таким образом, измеряемая рабочим временем относительная стоимость роковым образом оказывается формулой совершенного рабства работника, вместо того чтобы быть, как того желает г. Прудон, «революционной теорией» освобождения пролетариата.

Несмотря теперь, во скольких случаях применение рабочего времени, в качестве мерила стоимости, оказывается несовместным с существующим антагонизмом классов и с неравным распределением продукта труда между его непосредственным производителем и его обладателем (капиталистом).

Возьмем какой-нибудь продукт, напр., полотно. Этот продукт, как таковой, заключает в себе известное количество труда. Это количество труда останется неизменным, как бы ни изменилось взаимное положение лиц, участвовавших в производстве вашего продукта.

<sup>1)</sup> Закон, по которому „естественная“, т.-е. нормальная цена рабочей силы, совпадает с минимумом заработной платы, т.-е. с эквивалентом стоимости средств существования, безусловно необходимых для жизни рабочего и продолжения его расы, этот закон был впервые установлен мною в „Umrissen zu einer Kritik der Nationaloekonomie“ („Deutsch-Französische Jahrbücher“, Paris 1844 г.) и в „Lage der arbeitenden Klasse in England“. Как видно из вышесказанного, Маркс признавал тогда этот закон. От нас обобщ замечивал его Лассаль. Но, хотя заработная плата и имеет в действительности постоянное стремление приблизиться к своему минимуму, упомянутый закон все-таки не верен. Тот факт, что рабочая сила оплачивается обыкновенно в среднем ниже своей стоимости, не может изменить ее стоимости. В „Капитале“ Маркс правильно установил этот закон (отдел: Покупка и продажа рабочей силы), а также выяснил обстоятельство (глава XXIII. Общий закон капиталистического накопления), позволяющие при капиталистическом производстве, все более и более опускать цену рабочей силы ниже ее стоимости. Ф. Э.



Возьмем другой продукт: сукно, и положим, что его производство потребовало того же количества труда, что и полотно.

Обменивая эти продукты один на другой, мы будем обменивать равные количества труда. Обменивая равные количества труда, мы еще не заставляем производителей поменяться своим взаимным положением, точно так же, как не изменяем взаимного отношения работников и фабрикантов. Утверждать, что этот обмен продуктов, стоимости которых измеряется рабочим временем, ведет к равному вознаграждению всех производителей, это значит предполагать, что право на равное участие в продукте существовало еще до совершения обмена. Раз сукно обменяно на полотно, то производители сукна получают право лишь на часть полотна, равную прежней их части в сукне.

Г. Прудон принимает за следствие то, что в лучшем случае может быть не более, как ни на чем не основанным предположением. Отсюда и пристекает его иллюзия.

Пойдем далее.

Принимая время труда за мерило стоимости, предполагаем ли мы, по крайней мере, что рабочие дни *эквивалентны*, и что день одного стоит дня другого? Нет.

Допустим на минуту, что день ювелира стоит трех дней ткача; в этом случае всякое изменение стоимости алмазов по отношению к тканям — оставляя в стороне временные колебания в спросе и предложении — может быть причинено лишь уменьшением или увеличением рабочего времени, употребленного той или другой стороной на производство. Если три дня труда различных работников будут относиться между собой, как 1 : 2 : 3, то всякое изменение в относительной стоимости их продуктов будет пропорционально этим же числам — 1 : 2 : 3. Таким образом можно измерять стоимость рабочим временем, независимо от различия в стоимости рабочих дней; но чтобы прилагать подобное мерило, нужно иметь сравнительную таблицу стоимостей рабочих дней по различным отраслям производства; эта сравнительная таблица устанавливается конкуренцией.

Стоит ли час вашей работы часа моей? Это вопрос, разрешаемый конкуренцией.

Конкуренция, по мнению одного американского экономиста, определяет, сколько дней простого (неквалифицированного) труда содержится в одном дне сложного (квалифицированного) труда. Не предполагает ли это приведение дней сложного труда к дням труда простого, что за истинное мерило стоимостей принимается именно простой труд? То обстоятельство, что мерило стоимости служит одно лишь количество труда, без всякого отношения к его качеству, предполагает, в свою очередь, что простой труд сделался основой промышленности. Оно предполагает, что различные роды труда уравниваются путем подчинения человека машине или путем крайнего разделения труда, что труд отодвигает человеческую личность на задний план, что часовой маятник сделался точною мерою относительной деятельности двух работников, точно также, как он служит мерою скорости двух локомотивов. Поэтому, не следует говорить, что час (труд)

одного человека стоит часа другого, но вернее будет сказать, что человек одного часа стоит человека другого часа. Время — все, человек — ничто; он только воплощение времени. Теперь уже нет более речи о качестве. Количество решает все: час за час, день за день; но такое уравнение труда не есть дело вечной справедливости г. Прудона: оно просто на просто вызывается современной индустрией.

На фабрике, работающей с помощью машин, труд одного работника почти ни чем не отличается от труда другого: работники могут различаться только количеством времени, употребляемого ими на работу. Тем не менее, эта количественная разница делается, с известной точки зрения, — качественной, поскольку время, употребляемое на труд, зависит отчасти от причин чисто материальных, каковы, напр., физическое сложение, возраст, пол; отчасти же от нравственных чисто отрицательных условий, каковы, например, терпение, бесстрашие, прилежание. Наконец, если и встречается качественная разница в труде различных работников, то эта разница относится к качеству последнего качества, которое далеко не представляет собою отличительной особенности. Вот каково в последнем счете положение вещей в современной промышленности. И поэтому-то, уже осуществившемуся, равенству машинного труда г. Прудон проводит скобелем «уравнения», которое он надеется повсюду осуществить в «будущем времени».

Все «уравнительные» следствия, выводимые г. Прудоном из учения Рикардо, основываются на коренном заблуждении. Дело в том, что он смешивает стоимость товаров, измеряемую количеством воплощенного в них труда, со стоимостью товаров, измеряемой «стоимостью труда». Если бы эти два способа измерения стоимости товаров сливались в один, то можно было бы с одинаковым правом сказать: относительная стоимость какого бы то ни было товара измеряется количеством воплощенного в нем труда; или: она измеряется количеством труда, которое можно *на нее* купить; или еще иначе: она измеряется количеством труда, за которое можно *ее* купить. Но дело происходит далеко не так. Стоимость труда так же мало может служить мерой стоимостей, как и стоимость всякого другого товара. Достаточно нескольких примеров, чтобы еще лучше уяснить сказанное.

Если мера хлеба стоит теперь двух дней труда, между тем как прежде она стояла одного, то стоимость ее возрастет вдвое против своей первоначальной величины; но эта мера хлеба не может приводить в действие вдвое большего количества труда, потому что она продолжает содержать в себе все то же количество пищевых веществ, что и прежде. Таким образом, измеряемая количеством труда, употребленного на его производство, стоимость хлеба возрастает вдвое; но измеряемая количеством труда, которое может быть за нее куплено, или количеством труда, которое может *ее* купить, она была бы еще очень далека от удвоения. С другой стороны, если бы тот же самый труд стал производить вдвое больше одежды, чем прежде, то относительная стоимость одежды упала бы наполовину; но тем не менее покупательная сила этого двойного количества

одежды по отношению к труду не стала бы вдвое меньше, или, иначе, за то же самое количество труда нельзя было бы купить вдвое большего количества одежды: и это потому что половина платья, изготовляемого теперь в единицу времени, оказывала бы рабочим такую же услугу, какую прежде оказывало все количество его, производимое в ту же единицу.

Таким образом, определять относительную стоимость продуктов стоимостью труда — значит противоречить фактам экономическим. Это значит определять относительную стоимость посредством другой относительной стоимости, которая сама еще требует определения: это значит вращаться в заколдованном кругу.

Нет никакого сомнения в том, что г. Прудон смешивает два способа измерения — измерение посредством рабочего времени, необходимого для производства какого-либо товара, и измерение посредством стоимости труда. «Труд всякого человека, говорит он, может купить стоимость, которую он в себе заключает». Таким образом, по его мнению, известное количество труда, воплощенного в продукте, равняется вознаграждению работника, т.-е. равняется стоимости труда. На том же самом основании он смешивает издержки производства с заработной платой.

«Что такое заработная плата? Это издержки производства хлеба и т. д., это полная цена всякого товара». Несколько далее он говорит: «Заработная плата есть пропорциональность составных элементов богатства». Что такое заработная плата? Это стоимость труда.

Адам Смит иногда принимает за меру стоимости рабочее время, необходимое на производство товара, а иногда стоимость самого труда. Рикардо раскрыл эту ошибку, ясно показавши различия между обоими способами измерения. Г. Прудон еще усиливает ошибку Адама Смита, отождествляя два понятия, которые тот ставит лишь рядом.

Г. Прудон ищет мерил относительной стоимости товаров для того, чтобы найти затем правильную пропорцию, в которой рабочие должны участвовать в продукте, или, другими словами, чтобы определить относительную стоимость труда. Для определения же мерил относительной стоимости товаров он не придумал ничего лучшего, как выдать за эквивалент определенного количества труда ту сумму продуктов, которая им создана, что равносильно предположению, будто все общество состоит из одних только рабочих, получающих свой собственный продукт в виде заработной платы. Кроме того, он принимает за существующий факт равноценность рабочих дней различных работников. Словом: он ищет мерил относительной стоимости товаров, чтобы найти равное вознаграждение трудящихся, и принимает за существующий факт равенство заработных плат, чтобы, исходя из этого равенства, найти мерил относительной стоимости товаров. Какая удивительная диалектика!

«Сэй и следовавшие за ним экономисты замечали, что, принимая труд за принцип и действительную причину стоимости, мы попадаем в безвыходный круг, так как труд сам подлежит оценке и является таким же товаром, как и все другие. Замечу с дозволения экономистов, что, говоря таким образом, они обнаруживают поразительную невнимательность.

Труду приписывается «стоимость» не потому, что он есть товар, а потому, что, по предположению, он потенциально (в возможности) заключает в себе стоимость. Стоимость труда есть фигуральное выражение, выдвигание причины вместо следствия. Это такая же фикция, как и *производительность капитала*. Труд производит, капитал стоит. Опуская средние термины, говорят о стоимости труда... Труд, как и свобода... по своей природе есть нечто неясное и неопределенное, качественно определяющееся лишь в своем объекте; иначе сказать, он реализуется в продукте.

«Но к чему настаивать? Когда экономист (читайте г. Прудон) изменяет название вещей, *vera rerum vocabula*, он сам косвенно сознается в своем бессилии и слагает оружие» (Прудон I, стр. 188). Как мы уже видели, Прудон превращает стоимость труда в «действительную причину стоимости» продуктов, так что заработная плата — официальное название «стоимости труда» — составляет, по его мнению, полную цену всех вещей. Вот почему его смущает возражение Сэя. В труде-товаре, этой ужасной действительности, он видит только грамматическое сокращение. Значит и все современное общество, основанное на труде-товаре, опирается лишь на поэтическую вольность, на фигуральное выражение. И если общество захочет «уничтожить все те неудобства», от которых оно страдает, то ему стоит только устранить неблагозвучные выражения, изменить язык; а для этого ему нужно обратиться к академии и потребовать нового издания ее словаря. После всего нами слышанного не трудно понять, зачем, в сочинении, посвященном политической экономии, г. Прудон счел нужным войти в длинные рассуждения об этимологии и о других частях грамматики. Так, он пускается, напр., в учное обсуждение устарелого производства слова *servus* от *servare*. Эти филологические рассуждения имеют глубокий эзотерический смысл, они составляют существенную часть аргументации г. Прудона.

Поскольку труд продается и покупается, он есть такой же товар как и все другие, и имеет, следовательно, меновую стоимость. Но стоимость труда, или труд в качестве товара, так же мало *производит*, как стоимость хлеба. — или хлеб, как товар, — *служит пищей*.

Труд «стоит» больше или меньше, смотря по большей или меньшей дороговизне съестных припасов, по той или иной величине спроса и предложения рабочих рук и проч. и проч.

Труд вовсе не есть «нечто неопределенное». Продается и покупается не труд вообще, а совершенно определенный труд. И если он находит свое качественное определение в объекте, то и объект, в свою очередь, определяется специфическими качествами труда.

Поскольку труд продается и покупается, он есть товар. Зачем его покупают? «Потому что он потенциально заключает в себе стоимость». Но когда говорят, что такая-то вещь есть товар, то речь идет уже не о цели, ради которой ее покупают, т.-е. не о пользе, которую хотят извлечь из нее, не об употреблении, которое думают ей дать. Она — товар, как предмет торговли. Все рассуждения г. Прудона сводятся к следующему: труд покупается не ради непосредственного потребления. Конечно,

нет, — его покупают в качестве орудия производства, как купили бы, напр., машину. Поскольку труд есть товар, он имеет стоимость, но не производит. Г. Прудон мог бы с таким же точно правом сказать, что товаров вовсе не существует, так как всякий товар покупается лишь ради той или иной его полезности и никогда в качестве товара, как такового.

Измеряя стоимость товаров трудом, г. Прудон сам отчасти догадывается, что нельзя не подвести под это общее мерило и труд, поскольку труд имеет стоимость, является товаром. Он предчувствует также, что это значит — признать минимум заработной платы естественной и нормальной ценой непосредственного труда, а следовательно помириться с современным общественным строем. Чтобы увернуться от этого фатального вывода, он делает крутой поворот и утверждает, что труд не товар и не может иметь стоимости. Он забывает при этом, что сам же принял стоимость труда за мерило, забывает, что вся его система основана на труде-товаре, на труде-предмете торговли, который продается, покупается, обменивается на продукты и т. д., наконец, на труде, составляющем непосредственный источник дохода рабочего. Он забывает все.

Чтобы спасти свою систему, он решает пожертвовать ее основой.

«Et propter vitam vivendi perdere causas!»

Мы пришли теперь к новому определению «конституированной стоимости».

«Стоимость есть *отношение пропорциональности* продуктов, составляющих богатство».

Заметим во-первых, что в простом выражении «относительная или меновая стоимость» содержит уже понятие о том или другом отношении, в котором продукты обмениваются друг на друга. Называя это отношение «отношением пропорциональности», вы ровно ничего не изменяете в относительной стоимости кроме выражения. Оценка продукта выше или ниже его стоимости несколько не уничтожает его свойства — находится в том или другом «отношении пропорциональности» к другим продуктам, составляющим богатство.

К чему же этот новый термин, не вносящий нового понятия?

«Отношение пропорциональности» наводит на мысль о многих других экономических отношениях: напр., о пропорциональности производства, о правильной пропорции между спросом и предложением и т. д.; и обо всем этом думал г. Прудон, формулируя свою дидактическую парафразу меновой стоимости.

Прежде всего: так как относительная стоимость продуктов определяется сравнительным количеством труда, употребленного на производство каждого из них, то в данном случае отношение пропорциональности обозначает относительное количество различных продуктов, могущих быть произведенными в данный промежуток времени и способных поэтому обмениваться друг на друга.

Посмотрим, что выводит г. Прудон из этого отношения пропорциональности.

Каждому известно, что в тех случаях, когда спрос и предложение взаимно уравновешиваются, — относительная стоимость каждого продукта с точностью определяется воплощенным в нем количеством труда, т.-е. эта относительная стоимость выражает отношение пропорциональности именно в том смысле, который мы только что выяснили. Г. Прудон извращает весь действительный порядок вещей. Начинайте с изменения относительной стоимости продуктов количеством воплощенного в них труда, говорит он, и тогда спрос и предложение несомненно придут в равновесие. Производство будет соответствовать потреблению, продукты всегда будут обмениваться беспрепятственно, их рыночные цены будут с точностью выражать их истинную стоимость. Вместо того, чтобы говорить, как все люди: в хорошую погоду можно встретить много гуляющих, г. Прудон отправляет людей гулять, чтобы обеспечить им хорошую погоду.

То, что г. Прудон выдает за следствие, вытекающее из априорного определения меновой стоимости рабочим временем, могло бы иметь место разве лишь в силу закона, приблизительно такого содержания: отныне продукты будут обмениваться в точном соответствии с потраченным на них рабочим временем. Каково бы ни было отношение спроса к предложению, обмен товаров всегда будет совершаться так, как будто бы произведенное количество их вполне соответствовало спросу. Пусть г. Прудон возьмется формулировать и провести такой закон; мы подарим ему все доказательства. Но если он, напротив, желает оправдать свою теорию как экономист, а не как законодатель, то он должен будет доказать, что необходимое на производство товара время с точностью обозначает степень его полезности и выражает его пропорциональное отношение к спросу, а следовательно, и к сумме общественного богатства. В таком случае, при продаже продуктов по цене, равной издержкам их производства, предложение и спрос всегда будут находиться в равновесии, так как предполагается, что издержки производства выражают истинное отношение предложения к спросу.

Г. Прудон, действительно, старается доказать, что необходимое для производства продуктов рабочее время выражает истинное отношение его к потребностям, так что вещи, на производство которых нужно наименее времени, имеют наиболее непосредственную полезность, и так далее, в том же порядке. Производство какого-нибудь предмета роскоши уже доказывает, по этой теории, что у общества есть излишнее время, дающее ему возможность удовлетворять известную потребность в роскоши.

Что касается доказательства этого положения, то г. Прудон находит его в том замеченном им факте, что наиболее полезные вещи требуют наименьшего времени для своего производства, и что общество всегда начинает с самых легких отраслей промышленности, постепенно переходя затем к «производству предметов, стоящих большего количества рабочего времени и соответствующих потребностям высшего порядка».

Г. Прудон заимствует у Дюнауэ пример добывающей промышленности — сбор плодов, пастушество, охота, рыболовство и пр. — промышленности самой легкой, требующей наименьших издержек, в начатой

человеком «в первый же день его второго творения». Первый день его первого творения изложен в книге Бытия, где Бог является первым в мире промышленником.

В действительности дело идет совсем иначе, чем думает г. Прудон. С самого начала цивилизации в основание производства ложится антагонизм сословий, состояний, классов, наконец — антагонизм накопленного труда и труда живого. Без антагонизма нет прогресса: таков закоп, которому подчинялась цивилизация до наших дней. До настоящего времени производительные силы развивались благодаря господству антагонизма классов. Говорить, что люди потому могли предаваться производству предметов высшего порядка и более сложным отраслям промышленности, что все потребности всех рабочих были удовлетворены, — значит отвлекаться от антагонизма классов и извращать весь ход исторического развития. С таким же правом можно было-бы сказать, что во времена римских императоров мурены только потому откармливались в искусственных прудах, что для всего римского народа имелась изобильная пища; между тем как, совершенно наоборот: римскому народу не хватало самой необходимой пищи, римские же аристократы, действительно, не имели недостатка в рабах для выкармливания ими своих мурен.

Цены жизненных припасов почти постоянно возрастали, тогда как цены мануфактурных продуктов и предметов роскоши почти постоянно падали. Возьмем земледельческую промышленность: самые необходимые предметы — хлеб, мясо и т. п. — дорожают, цена же хлопка, сахара, кофе и т. п. постоянно, и в поразительной пропорции, понижается. Даже между собственно съестными припасами, предметы роскоши, в роде артишоков, или спаржи, стоят в настоящее время сравнительно дешевле, чем припасы первой необходимости. В наше время излишнее производится легче необходимого. Наконец, в различные исторические эпохи взаимное отношение цен не только различно, но противоположно. Во все продолжение средних веков земледельческие продукты были относительно дешевле мануфактурных; в новейшие же времена между ними существует обратное отношение. Следует ли из этого, что полезность земледельческих продуктов уменьшилась со времени средних веков?

Потребление продуктов определяется социальными условиями, в которые поставлены потребители, а сами эти условия основаны на антагонизме классов.

Хлопок, картофель и водка представляют собою наиболее распространенные предметы потребления. Картофель породил золотуху; хлопок в большинстве случаев вытеснил лен и шерсть, хотя эти последние продукты, во многих отношениях — напр., с чисто гигиенической точки зрения — гораздо полезнее хлопка; водка взяла верх над пивом и вином, хотя по общему признанию водка оказывается ядом, употребляется в качестве питательного вещества. В течение целого века правительств тщетно боролись с этим европейским опиум. Экономия победила; она продиктовала законы потреблению.

Почему же хлопок, картофель и водка стали краеугольным камнем

буржуазного общества? Потому что их производство требует наименьшего труда и они имеют, вследствие этого, наименьшую цену. А почему минимуму цены обуславливает максимум потребления? Уж не вследствие ли абсолютной, внутренней полезности дешевых вещей, их способности наилучшим образом удовлетворять потребности рабочего, как человека, а не человека, как рабочего? — Нет, это потому, что в обществе, основанном на *нищете*, самые *нищенские* продукты имеют роковое преимущество служить для потребления массы.

Говорить, что так как самые дешевые предметы имеют наиболее широкий круг потребления, то они обладают, следовательно, самую большую полезностью, — говорить это теперь, значит утверждать, что громадное распространение водки, обуславливаемое дешевизной ее производства — есть самое несомненное доказательство ее полезности, это значит говорить пролетарию, что для него картофель питательнее мяса; это значит мириться с существующим положением вещей; это значит, наконец, делать вместе с г. Прудоном апологию общества, которого не понимаешь.

В будущем обществе, где исчезнет антагонизм классов, где не будет и самих классов, не потребление будет зависеть от *минимума* времени, необходимого на производство, а, наоборот, количество времени, которое будут посвящать на производство того или другого предмета, будет определяться степенью его полезности.

Возвратимся, однако, к тезису г. Прудона. Коль скоро рабочее время, необходимое на производство предмета, не говорит о степени его полезности, то и меновая стоимость этого предмета, заранее определенная воплощенным в нем рабочим временем, ни в каком случае не может регулировать правильного отношения предложения к спросу, т.-е. отношения пропорциональности в том смысле, который придает ему пока г. Прудон.

Отношение пропорциональности между предложением и спросом, т.-е. пропорциональное отношение данного продукта ко всей совокупности производства, устанавливается вовсе не продажей этого продукта по цене, равной издержкам его производства. Лишь *колебания спроса и предложения* указывают производителям то количество, в котором следует произвести известный товар, чтобы получить в обмен на него по крайней мере издержки производства. И так как эти колебания непрерывны, то непрерывно также и движение прилива и отлива капиталов в различных отраслях промышленности.

«Только сообразуясь с этими колебаниями, капиталы прилагаются именно в требуемой, а не в большей *пропорции* к производству различных товаров, на которые есть спрос. Благодаря повышению или понижению цен, прибыли поднимаются выше или падают ниже своего общего уровня, и тем самым то привлекают, то отталкивают капиталы от той специальной отрасли, которая подверглась тому или другому из этих колебаний». — «Если мы обратим внимание на рынки больших городов, то увидим, с какою правильностью снабжаются они, в требуемом количестве, всевозможными продуктами, как национальными, так и иностранными; причем, несмотря на изменения в спросе, зависящие от каприза влуса, от



прилива и отлива населения, редко случаются как переполнения рынка вследствие излишка в снабжении, так и чрезмерная дороговизна от недостаточности его по отношению к спросу. Нельзя не согласиться, что действие принципа, распределяющего капиталы по различным отраслям промышленности и притом *в пропорциях, точно соответствующих* потребностям, гораздо могущественнее, чем обыкновенно предполагают». (Рикардо, т. I, стр. 105 и 108).

Если г. Прудон признает определение стоимости продуктов рабочим временем, то он должен помириться и с этим колебательным движением, которое одно только и делает из рабочего времени мерило стоимости. Конституированного «отношения пропорциональности» вовсе не существует, а есть только конституирующее движение.

Мы только что видели, в каком смысле можно справедливо говорить о «пропорциональности», как о следствии определения стоимости рабочим временем. Теперь мы увидим, как это измерение стоимости временем, названное г. Прудоном «законом пропорциональности», превращается в закон *диспропорциональности*.

Возкое новое изобретение, позволяющее производить в один час то, что производилось прежде в два часа, обесценивает все однородные продукты, имеющиеся на рынке. Конкуренция вынуждает производителя продавать продукт двух часов не дороже продукта одного часа. Она реализует закон, по которому относительная стоимость продукта определяется рабочим временем, необходимым на его производство. Тот факт, что рабочее время служит мерилом меновой стоимости, становится, таким образом, законом постоянного *обесценения* труда. Более того. Обесценение распространяется не только на товары, вынесенные на рынок, но и на орудия производства — на всю мастерскую. На этот факт указывает уже Рикардо, говоря: «Постоянно увеличивая легкость производства, мы постоянно уменьшаем стоимость некоторых, ранее произведенных вещей». (Т. II, стр. 58). Сисмонди идет далее. Он видит в этой «стоимости, конституированной» рабочим временем, источник всех противоречий между современной промышленностью и торговлей. «Меновая стоимость, говорит он, всегда определяется, в конце концов, количеством труда, необходимого на приобретение данной вещи; не труда, действительно на нее потраченного, а того, которого она впредь будет стоить при данных, быть может, усовершенствованных средствах производства. Это количество труда, хотя и нелегко определяемое с точностью, всегда верно устанавливается конкуренцией... Оно служит основанием для расчетов, как при запросе со стороны продавца, так и при предложении со стороны покупателя. Первый станет, быть может, утверждать, что вещь стоила ему десяти дней труда, но если второй ~~знает~~ знает, что впредь она может производиться в восемь дней, и если конкуренция представит тому убедительные для обеих сторон доказательства, то стоимость сведется к восьми дням, и торг будет заключен по этой цене.

И продавец и покупатель знают, конечно, что вещь полезна, что она желательна, что без желания купить нет возможности продать; но

определение цены вещи не сохраняет никакого отношения к ее полезности». (Этюды, т. II, стр., 267, бруссельское издание).

Очень важно не упускать из виду того обстоятельства, что стоимость вещи определяется не временем, в продолжение которого она была произведена, а минимумом времени, в которое она может быть произведена; этот минимум констатируется конкуренцией. Предположим на минуту, что исчезла конкуренция и нет, следовательно, никакой возможности констатировать минимум труда, необходимого на производство данного продукта. Что тогда произойдет? Достаточно будет употребить на производство предмета шесть часов труда, чтобы иметь право требовать за него, по теории г. Прудона, в шесть раз больше, чем требует тот, кто потратил лишь один час на производство такого же предмета.

Вместо «отношения пропорциональности» мы имеем отношение диспропорциональности, если уж нам так хочется иметь какие-нибудь «отношения», худые или хорошие.

Постоянное обесценение труда есть лишь одна сторона, лишь одно из следствий оценки товаров рабочим временем. Этим же способом оценки объясняется также чрезмерное повышение цен, излишнее производство и много других проявлений промышленной анархии.

Но порождает ли рабочее время, принятое за мерило стоимости, хотя бы то пропорциональное разнообразие продуктов, которое так восхищает г. Прудона?

Как раз наоборот: оно приводит в товарном мире к господству той же полной однообразия монополии, которая, как известно всем и на глазах у всех, охватывает уже область орудий производства. Быстро прогрессировать могут лишь некоторые отрасли промышленности, как, например, хлопчатобумажная. Естественным следствием такого прогресса является быстрое понижение цен на продукты, положим, хлопчатобумажной мануфактуры; но, по мере удешевления хлопка, цена льна должна испытывать сравнительное повышение. Что же выходит из этого? Лен заменяется хлопком. Таким образом он изгнан уже почти из всей Северной Америки, и вместо пропорционального разнообразия продуктов мы имеем царство хлопка.

Что же остается от этого «отношения пропорциональности»? Ничего, кроме пожеланий добросовестного человека, которому хочется, чтобы товары производились в пропорциях, позволяющих продавать их по добросовестным ценам. Во все времена добрые буржуа и экономисты-филантропы любили выражать это невинное пожелание.

Дадим слово старому Буа-Гильберу:

«Цена товаров, говорит он, всегда должна быть пропорциональна, так как только подобное их согласие позволяет им жить вместе, чтобы обмениваться в каждую данную минуту (вот она прудоновская постоянная способность к обмену) и порождать друг друга. Богатство есть нечто иное, как этот непрерывный обмен между людьми, занятиями и т. д., поэтому было бы ужасным ослеплением искать причины нищеты вне приостановок таких сношений, приостановок, причиняемых нарушениями пропорциональности цен». («Dissertation sur la nature des richesses», édit. Daire).

Послушаем также и современного экономиста:

«Великий закон, который должен быть применен к производству, есть закон пропорциональности (the law of proportion): только он один может сохранить непрерывность стоимости... Эквивалент должен быть обеспечен... Все нации пытались в различные эпохи, посредством многочисленных торговых регламентов и ограничений, осуществить, до известной степени, этот закон пропорциональности; но присущий человеческой природе эгоизм побуждает людей низвергать всю эту систему регламентаций. Производство, поставленное в надлежащей пропорции (proportionate production), есть полное осуществление истинной социально-экономической науки». (W. Atkinson, Principles of political economy, Лондон 1840, стр. 170—195).

Fuit Troja. Эта истинная пропорция между спросом и предложением, снова начинающая являться предметом таких горячих пожеланий, давно уже перестала существовать. Она перешла в разряд древностей. Она была возможна лишь в те времена, когда средства производства были ограничены и обмен не выходил из самых узких пределов. С появлением крупной промышленности правильная пропорциональность должна была исчезнуть, и производство принуждено роковым образом проходить через ряд беспрерывно сменяющих друг друга состояний: процветания, упадка, кризиса, застоя, нового процветания, и так далее.

Люди, подобно Сисмонди желающие возвратиться к правильной пропорциональности производства, сохраняя однако все основы современного общества, являются реакционерями, так как, ради последовательности, они должны бы желать возвращения и всех прочих условий промышленности прошедших времен.

Что удерживало производство в более или менее правильных пропорциях? Спрос, господствовавший над предложением и ему предшествовавший. Производство, шаг за шагом, следовало за потреблением. Крупная промышленность, своими собственными орудиями производства вынуждаемая производить все в больших и больших размерах, не может ждать спроса. Производство предшествует потреблению, предложение вызывает спрос.

В современном обществе, в промышленности, основанной на индивидуальных обменах, анархия производства, являясь источником стольких бедствий, есть в то же время источник всякого прогресса.

Итак, одно из двух:

Или вы желаете правильной пропорциональности прошлых веков вместе с современными средствами производства, и являетесь в таком случае, одновременно и реакционером и утопистом.

Или вы желаете прогресса без анархии, тогда, чтобы сохранить производительные силы, откажитесь от индивидуальных обменов.

Индивидуальные обмены совместимы лишь с мелкой промышленностью прошлых веков и со свойственной ей «правильной пропорциональностью», или — с крупной промышленностью, вместе со всей ее свитой нищеты и анархии.

Изо всего нами сказанного очевидно, что определение стоимости

рабочим временем, т.-е. та формула, которую г. Прудон выдает нам за формулу будущего возрождения, есть ничто иное, как научное выражение экономических отношений современного общества, что, задолго до г. Прудона, было точно и ясно доказано Рикардо.

Но принадлежит ли г. Прудону, по крайней мере, «уравнительное» применение этой формулы? Он ли первый задумал преобразовать общество, путем превращения всех людей в непосредственных работников, обменивающихся равными количествами труда? Имеет ли он право упрекать коммунистов — людей, лишенных всяких познаний в политической экономии, «людей упрямо глухих», «райских мечтателей» — упрекать их в том, что они не пашли до него «решения задачи пролетариата»?

Кто хоть сколько-нибудь знаком с развитием политической экономии в Англии, тот не может не знать, что в разное время почти все социалисты этой страны делали уравнительные выводы из теории Рикардо. Мы могли бы указать г. Прудону на «Политическую Экономию» Гопкинса, вышедшую в 1822 году; на сочинения: Виллиама Томсона, An inquiry into the Principles of the distribution of wealth, most conducive to human happiness, 1827 г.; Т. Р. Эдмондса, Practical, moral and political Economy, 1828 г. и проч. и проч. и проч., и еще четыре страницы таких и проч. и проч. и проч. Мы приведем только слова одного английского коммуниста, Брэя. Мы выпишем главнейшие места из его замечательного произведения: Labour's wrongs and Labour's remedy, Leeds 1839 года; и мы довольно долго остановимся на нем, во-первых, потому что г. Брэй мало еще известен во Франции, а, во-вторых, еще и потому, что в произведениях этого писателя мы нашли, как нам кажется, ключ ко всем прошедшим, настоящим и будущим сочинениям г. Прудона.

«Выяснение основных принципов есть единственное средство достичь истины. Поднимаемся же сразу к самому источнику происхождения правительств. Исследуя причины этого явления, мы найдем, что всякая правительственная форма, всякая социальная и политическая несправедливость вытекает из господствующей в настоящее время социальной системы, — из *института собственности в его современной форме* (The institution of property as it at present exists). Поэтому, чтобы навсегда прекратить существующие несправедливости и бедствия, необходимо *разрушить современный общественный строй в самой его основе*... Поражая экономистов их собственным оружием и на их собственной почве, мы отнимем повод к бессмысленной болтовне о «людях дележа» и о «теоретиках», пуститься в которую они всегда готовы. Если только экономисты не захотят отступиться от тех общественных истин и принципов, на которых построены их собственные аргументы, то они не будут в состоянии опровергнуть выводов, к которым мы придем, следуя этому методу. (Брэй, стр. 17 и 41). *Только труд создаст стоимость* (it is labour alone which bestows value)... Каждый человек имеет неоспоримое право на все, что может доставить ему его честный труд. Присвоивая себе плоды своего труда, он не совершает никакой несправедливости по отношению к другим людям, так как нисколько не нару-

шает их права действовать таким же образом... Все понятия о высших и низших, о господах и наемниках порождены пренебрежением к основным принципам и возникшим отсюда неравенством имуществ (and to the consequent rise of inequality of possessions). Пока сохранится это неравенство, не будет возможности ни искоренить такие идеи, ни испровергнуть основанные на них учреждения. До сих пор еще многие пытаются напрасную надежду улучшить господствующий теперь противоестественный порядок вещей, посредством уничтожения *существующего неравенства*, не касаясь при этом его *причины*; но мы скоро докажем, что правительство является не причиной, а следствием, что оно не создает, а наоборот само создано, что, словом, оно само составляет *результат неравенства имуществ* (the offspring of inequality of possessions), и что неравенство имуществ неразрывно связано с существующей теперь социальной системой (Брэй, стр. 33, 36 и 37).

«Система равенства имеет за себя не только величайшие преимущества, но еще и высшую справедливость... Каждый человек является необходимым звеном в той цепи действий, которая отправляется от идеи. чтобы прийти, быть может, к производству штуки сукна. Поэтому, из различия наших склонностей к тем или другим профессиям нельзя еще вывести заключения, что труд одного должен вознаграждаться лучше труда другого. Изобретатель, кроме заслуженного им денежного вознаграждения, всегда получит еще дань удивления, которое вызывает в нас только гений.

«По самой природе труда и обмена, строгая справедливость требует, чтобы выгоды обменивающихся были не только *взаимны*, но и *равны* (all exchangers should be not only *mutually*, but they should likewise be equally benefitted). Существует только два предмета, которые люди могут между собою обменивать, а именно: труд и его продукт. При справедливой системе обменов, стоимость всех продуктов определялась бы *полною совокупностью издержек их производства*, и *равные стоимости обменивались бы на равные стоимости* (If a just system of exchanges were acted upon, the value of all articles would be determined by the entire cost of production, and equal values should always exchange for equal values). Например, если шляпочник, употребляющий день на производство шляпы, и башмачник, изготовляющий в то же время пару башмаков (предполагая, что оба употребляют материал одинаковой стоимости), обмениваются этими продуктами, извлеченная ими выгода будет взаимна и в то же время равна. Здесь выгода одной стороны не может быть убытком для другой, так как обе доставили одинаковое количество труда и употребляли материалы одинаковой стоимости. Но если бы, при тех же, предположенных выше условиях, шляпочник приобрел *две* пары башмаков за *одну* шляпу, то очевидно, что обмен был бы несправедлив. Шляпочник лишил бы башмачника одного дня труда и, поступая таким образом во всех своих обменах, приобрел бы за свой *полугодовой* труд продукт *целого года* труда другого лица. До сих пор мы постоянно следовали этой в высшей степени несправедливой

системе обмена: рабочие постоянно отдавали капиталисту труд целого года в обмен за стоимость полугода (the workmen have given the capitalist the labour of a whole year, in exchange for the value of only half a year). Именно отсюда, а вовсе не из предполагаемого неравенства физических и умственных сил индивидуумов, произошло неравенство богатства и власти. Неравенство обменов, различие цен при покупках и продажах может сохраниться лишь при том условии, что капиталисты навсегда останутся капиталистами, а рабочие рабочими; одни — классом тиранов, другие — классом рабов... Эта сделка (между капиталистами и рабочими) ясно показывает, что за недельный труд рабочего капиталисты и собственники дают ему лишь часть богатства, от него же приобретенного на прошлой неделе, следовательно, они удерживают у рабочего нечто, не давая ему за это ничего (nothing for something)... Вся сделка между рабочим и капиталистом оказывается простым фарсом; в действительности это по большей части ничто иное, как наглый, хотя и законный, грабеж (the whole transaction between the producer and the capitalist is a mere farce: it is in fact in thousands of instances no other than a barefaced though legal robbery). (Брэй, стр. 45, 48, 49 и 50).

«Прибыль предпринимателя всегда будет потерей для рабочего, пока обмен между ними останется неравным, обмен же не может сделаться равным, пока общество делится на капиталистов и производителей, причем одни живут своим трудом, тогда как другие жиреют от прибыли с чужого труда..

«Ясно», продолжает г. Брэй, «что, какую бы форму правления вы ни установили.. сколько бы ни проповедывали во имя нравственности и братской любви.. взаимность не совместима с неравенством обменов. Неравенство обменов, являясь источником неравенства состояний, есть тайный враг, который нас пожирает. (No reciprocity can exist, where there are unequal exchanges... Inequality of exchanges, as being the cause of inequality of possessions is the secret enemy that devours us)». (Брэй, стр. 51 и 52).

! «Исследуя цель и задачи общества, я прихожу к тому заключению, что не только все люди должны трудиться, чтобы иметь возможность обмениваться, но что обмениваться должны равные стоимости на равные же стоимости. Далее, для того, чтобы прибыль одного не могла составить потери для другого, стоимость должна определяться издержками производства. Мы видели, однако, что при существующем социальном строе, прибыль капиталистов и богатей всегда является потерей для рабочих. Мы видели также, что этот результат неизбежен, и что при всех формах правления бедный будет отдан на произвол богатого, пока сохранится неравенство обменов. Равенство же обменов может быть обеспечено лишь таким социальным порядком, при котором признавалась бы всеобщность труда... Равенство обменов произвело-бы постепенный переход богатств из рук современных капиталистов в руки рабочего класса.

«Пока остается в силе система неравенства обменов, производители всегда будут так же бедны, невежественны и чрезмерно отячены работою,

как и в настоящее время, если бы даже были *отменены все пражительственные подати и все налоги...* Только полное изменение системы, только введение равенства труда и обменов может улучшить этот порядок и обеспечить людям истинное равенство прав.. Производителям достаточно одного усилия — а именно от них-то и должны исходить все усилия для их собственного спасения — и их цепи будут навсегда разбиты. В качестве цели, политическое равенство есть ошибка, оно оказывается также ошибкой и в смысле средства». (As an end the political equality is there a failure, as a means, also it is there a failure).

«При равенстве обменов прибыль одного не может быть потерей для другого, потому что всякий обмен является тогда простым *перенесением* труда, и богатства, не требующим никаких жертв. Таким образом, при господстве социальной системы, основанной на равенстве обмена, производитель также может обогатиться посредством сбережений, но его богатство будет лишь накопленным результатом его собственного труда. Он может обменивать свое богатство или дарить его другим, но, переставши работать, он не будет иметь возможности остаться богатым на более или менее продолжительное время. С установлением равенства обменов, богатство потеряет присущую ему теперь способность возобновляться и воспроизводиться, так сказать, собственную силу; оно не будет уже в состоянии пополнять потери, понесенные им от потребления, так как раз потребленное богатство будет навсегда потеряно и может быть воспроизведено лишь новым трудом. При равенстве обменов не может более существовать то, что мы теперь называем *прибылью* и *процентом*. Как производители, так и лица, занятые распределением, будут получать одинаковое вознаграждение, и стоимость каждого произведенного и доставленного потребителю продукта будет определяться общей суммой обоих родов потраченного на них труда..

«Принцип равенства обменов должен, следовательно, по самой своей природе привести ко всеобщности труда». (Брэй, стр. 76, 88, 89, 92 и 109).

Опровергнувши возражения экономистов против коммунизма, г. Брэй продолжает:

«Если, с одной стороны, для успешного осуществления общественной системы коммунизма, в ее совершенной форме, необходимо предварительное изменение человеческого характера; если, с другой стороны, существующий строй не дает ни удобств, ни возможности для такого изменения характера и для приготовления людей к лучшему, всем нам одинаково желательному, порядку, то отсюда ясно, что порядок вещей необходимо должен остаться таким, как он есть, если не будет открыт и применен переходный общественный строй, имеющий общие черты, как с современной, так и с будущей системой (системой коммунизма), — род переходного состояния, в которое общество вступило бы со всеми своими излишествами и безумствами, чтобы впоследствии выйти из него обогащенным качествами и свойствами, составляющими необходимое условие коммунистической системы». (Брэй, стр. 136).

«Для всего этого переходного процесса необходима была бы лишь самая простая форма кооперации... Издержки производства всегда определяли бы стоимость продукта, и равные стоимости постоянно обменивались бы на равные стоимости. Если одно лицо работало бы неделю, а другое лишь половину этого времени, то вознаграждение первого вдвое превышало бы вознаграждение второго; но этот излишек платы не был бы получен одним в ущерб другому; потери однако никоим образом не касались бы другого. Каждый обменивал бы лично полученную им плату на предметы одинаковой с нею стоимости, и выгоды, полученные каким-нибудь лицом и какою-нибудь отраслью промышленности, ни в каком случае не составляли бы потери для других лиц, или для других отраслей. Труд каждого лица был бы *единственным мерилом* его прибыли или его потери»...

«...Количество различных, нужных для потребления продуктов, относительная стоимость каждого предмета по сравнению его с другими (число рабочих, требуемых различными отраслями труда), словом, все, относящееся до общественного производства и распределения, определялось бы посредством общих и местных контор (boards of trade). В применении к целой нации эти расчеты совершались бы с такою же малой затратой времени и с такою же легкостью, с какими делаются они, при существующей системе, частными обществами... Как и в настоящее время, личности группировались бы тогда в семьи, семьи — в общины. ...Даже разделение населения на городское и деревенское, как ни вредно такое разделение, не было бы уничтожено сразу. Каждая личность сохранила бы в этой ассоциации полную свободу накопить сколько ей угодно и употребить свои сбережения по собственному усмотрению... Наше общество было бы, так сказать, большой акционерной компанией, составленной из бесконечного числа маленьких акционерных компаний, которые все трудились бы, производили и обменивали свои продукты на основе полнейшего равенства... Наша новая система акционерных компаний, являясь лишь уступкой, сделанной современному обществу с целью перехода к коммунизму, позволяет совместное существование *индивидуальной собственности* продуктов с *общественной собственностью* производительных сил; она ставит судьбу каждой личности в зависимость от ее собственной деятельности, и дает ей равную долю в выгодах, доставляемых природою и успехами техники. Поэтому такая система может быть применена к обществу в его современном состоянии, и может приготовить его к будущим изменениям». (Брэй, стр. 158, 160, 162, 168, 194 и 199).

Мы ответим лишь в нескольких словах г. Брэю, заменившему помимо нас и даже против нашей воли г. Прудона, с тою однако разницею, что г. Брэй не только не выдает предлагаемых им мер за последнее слово человечества, но считает их пригодными лишь для эпохи переходной между современным обществом и коммунистической системой.

Рабочий час Петра обменивается на рабочий час Павла. Вот основная аксиома г. Брэя.



Предположим, что Петр проработал двенадцать часов, а Павел только шесть; в таком случае Петр может обменяться с Павлом только шестью часами на шесть часов, остальные же шесть останутся у него в запасе. Что сделает он с этими часами?

Или ровно ничего не делает, и таким образом шесть рабочих часов будут для него потеряны, или он прогуляет другие шесть часов, чтобы поставить себя в равные условия с Павлом, или, наконец, и это для него последний исход, он отдаст эти ненужные ему шесть часов Павлу, в придачу к остальным.

Итак, что же, в конце концов, выиграет Петр по сравнению с Павлом? Рабочие часы? Нет. Он выиграет только часы безделья, будет вынужден лениться в продолжении шести часов. Чтобы не только терпеть это новое право безделья, но еще и дорожить им, будущее общество должно видеть в ленисти величайшее благополучие, считать труд тяжелым бременем, от которого следует избавиться во что бы то ни стало. И если бы еще эти часы досуга были для Петра действительным выигрышем! Но нет. Павел, начавший шестью часами труда, достигает посредством размеренной и правильной работы того же результата, как и Петр, начавший усиленным трудом. Каждый захочет быть Павлом. Явится конкуренция ленисти с целью достичь положения Павла.

Что же принес нам обмен равных количеств труда? Излишнее производство, обесценение, чрезмерный труд, сменяемый застоєм, словом, все существующие экономические отношения, за исключением конкуренции труда.

Но нет, мы ошибаемся. Существует еще одно средство спасения для нового общества Петров и Павлов. Петр сам потребит продукт своего шести-часового труда. Но раз ему нет надобности обменивать произведенные им продукты, ему нет также надобности и производить для обмена, а этим разрушаются все предположения об обществе, основанном на разделении труда и обмене. Равенство обменов было бы спасено только прекращением всякого обмена: Павел и Петр превратились бы в Робинзонов.

Итак, если даже предположенное общество состоит из непосредственных работников, то обмен равного количества рабочих часов возможен лишь при условии предварительного соглашения насчет числа часов, необходимых для материального производства. Но такое соглашение есть отрицание индивидуального обмена.

Мы придем к тому же заключению, если, вместо распределения произведенных продуктов, возьмем за точку отправления самый акт производства. В крупной промышленности Петр не может произвольно определить время своего труда, так как без содействия всех остальных Петров и Павлов, входящих в состав мастерской, его труд не имеет значения. Этим как нельзя лучше объясняется упорное противодействие английских фабрикантов *десяти-часовому биллю*. Они слишком хорошо знали, что уменьшение на два часа рабочего времени детей и женщин должно повести за собою такое же сокращение труда взрослых. Сама природа

крупной промышленности требует равного для всех рабочего времени. То, что является сегодня результатом действия капитала и конкуренции между рабочими, завтра, с устранением отношения труда к капиталу, будет достигаться посредством соглашения, основанного на отношении суммы производительных сил к сумме существующих потребностей.

Но такое соглашение является смертным приговором индивидуаль- ному обмену; значит, мы снова приходим к нашему первому результату.

Строго говоря, нет обмена продуктов, но есть обмен участвующих в производстве родов труда. От способа обмена производительных сил зависит и способ обмена продуктов. Вообще, способ обмена продуктов соответствует форме производства. Измените эту последнюю, и изменение формы обмена является как следствие. Точно также и в истории общества видим, что способ обмена продуктов обуславливается способом их производства. Индивидуальный обмен тоже соответствует определенному способу производства, который, в свою очередь, соответствует антагонизму классов. Поэтому без антагонизма классов не может быть и индивидуального обмена.

Но совесть честных буржуа отказывается признать этот очевидный факт. Пока человек остается буржуа, он не может не видеть в этих, основанных на антагонизме, отношениях — царства гармонии и вечной справедливости, никому не позволяющей выдвигаться на счет других. По мнению буржуа, индивидуальный обмен может существовать без антагонизма классов, для него эти два явления не имеют между собою ничего общего. Индивидуальный обмен, каким воображает его буржуа, имеет очень мало сходства с индивидуальным обменом, существующим в действительности.

Г. Брэй возводит *иллюзию* честного буржуа в *идеал*, который он желал бы осуществить. Очищая индивидуальный обмен, устраняя из него все заключающиеся в нем элементы антагонизма, он воображает, что нашел «уравнительные» отношения, которые следует ввести в общественную жизнь.

Г. Брэй не подозревает, что то уравнительное отношение, тот *совершенствующий идеал*, который он желал бы ввести в мир, сам является лишь отражением существующего мира, и что поэтому абсолютно невозможно перестроить общество на основе, которая есть не более, как его собственная разукрашенная тень. По мере того, как эта тень облекается плотью, оказывается, что вместо рисовавшегося в воображении светлого образа плоть эта является лишь современным общественным телом<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Теория г. Брэя, как и всякая другая теория, нашла себе сторонников, обманувшихся ее внешностью. В Лондоне, в Шеффилде, в Лидсе и во многих других городах Англии были основаны *equitable-labour-exchange-bazars* (базары для справедливого обмена продуктов труда). Подловившие значительные капиталы, все эти базары потерпели

### § III. Приложение закона пропорциональности стоимости.

#### А. Деньги.

«Золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых конституировалась».

Итак, золото и серебро оказываются первыми приложениями «стоимости, конституированной»... г. Прудонем. А так как г. Прудон конституирует стоимость продуктов, определяя ее сравнительным количеством труда, воплощенного в этих продуктах, то ему оставалось только доказать, что колебания в стоимости золота и серебра всегда объясняются колебаниями в количестве труда, необходимого на их производство. Но г. Прудон и не думает об этом. Он говорит о золоте и серебре, как о деньгах, а не как о товаре.

Вся его логика, если только тут есть логика, ограничивается тем, что на все товары, стоимость которых может измеряться рабочим временем, он распространяет свойство золота и серебра — служить деньгами. Конечно, во всем этом фокусе больше наивности, чем злого умысла.

Если стоимость данного полезного предмета определена необходимым на его производство рабочим временем, то он всегда может быть принят в обмен. Доказательство этому мы видим в золоте и серебре, находящихся в искомым условиях «обмениваемости» — восклицает г. Прудон. Значит, золото и серебро представляют собою стоимость в ее конституированном виде, т.-е. воплощение идеи г. Прудона. Он как нельзя более счастлив в выборе своего примера. Помимо того, что они являются товарами, стоимость которых, как и всяких других товаров, измерится количеством труда, — золото и серебро имеют еще свойство служить всеобщим средством обмена — т.-е. быть деньгами. Поэтому, принимая золото и серебро за приложение «стоимости, конституированной» рабочим временем, нет ничего легче, как доказать, что каждый товар, стоимость которого будет определена (конституирована) рабочим временем, получит постоянную способность к обмену, станет деньгами.

В уме г. Прудона возникает совершенно простой вопрос: почему золото и серебро пользуются привилегией служить типом конституированной стоимости?

«Обычаем приданная драгоценным металлам специальная функция — служить средством обращения — есть функция вполне условная, и

---

скандальное банкротство. Это навсегда отбило от них охоту. Предостережение для г. Прудона!

Б. М.

Как известно, г. Прудон не воспользовался этим предостережением. В 1849 году он сам пытался устроить меновой банк в Париже. Но банк этот рухнул даже раньше, чем начал правильно действовать. Судебное преследование против г. Прудона прикрыло собою это крушение.

Ф. Э.

каждый товар мог бы выполнять ее также основательно, хотя быть может и с меньшими удобствами; это признается экономистами, и можно указать немало подобных примеров. Где же причина этой привилегии служить деньгами, которую пользуются драгоценные металлы, и как объяснить такую специализацию функции денег, не имеющую аналогии в политической экономии?.. Нельзя ли *восстановить тот ряд явлений*, из которого деньги были, повидимому, вырваны, и тем привести их (деньги) к их истинному принципу?»

Ставя вопрос в таких выражениях, г. Прудон уже заранее предполагает деньги. Прежде всего он должен бы спросить себя, почему обмен, в своей современной форме, потребовал, так сказать, индивидуализации меновой стоимости, выразившейся в выделении специального средства обмена? Деньги не вещь, а общественное отношение. Почему отношение, называемое деньгами, как и всякое другое экономическое отношение, как разделение труда и проч., есть отношение производства? Если бы г. Прудон составил себе ясное представление об этом экономическом отношении, деньги не казались бы ему исключением, оторванным членом неизвестного и искомого ряда.

Он нашел бы, наоборот, что это отношение есть лишь одно из звеньев целой цепи других экономических отношений, с которою оно, поэтому, очень тесно связано; он признал бы, что это отношение соответствует определенному способу производства, точно так же, как соответствует ему индивидуальный обмен. А он что делает? Он начинает с того, что выделяет деньги из всей совокупности современного способа производства, чтобы сделать их, впоследствии, первым членом воображаемого ряда, который нужно еще открыть.

Раз признана необходимость в специальном средстве обмена, т.-е. необходимость денег, остается лишь выяснить, почему эта особая функция досталась золоту и серебру, а не какому-нибудь иному товару. Это вопрос второстепенный, и его объяснения следует искать не в общей связи отношений производства, а в специальных материальных свойствах золота и серебра. Отсюда ясно, что если экономисты «вышли» в этом случае «из пределов своей науки, и заговорили о физике, технике, истории и проч.», в чем упрекает их г. Прудон, то они сделали именно то, что должны были сделать. Вопрос лежит вне области политической экономии.

«Чего не видел и не понял ни один экономист, говорит г. Прудон, — так это *экономической причины* того преимущества, которым пользуются драгоценные металлы».

Г. Прудон увидел, понял и завещал потомству эту экономическую причину, которой никто — и по совершенно достаточной причине — не видел и не понимал.

«Никто не заметил именно того факта, что из всех товаров золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых конституировалась. В патриархальном периоде золотого и серебро составляют еще предмет торговли, обмениваются еще в слитках, но уже с видимым стремлением к

преобладанию и с заметным предпочтением. *Постепенно* правители овладевают драгоценными металлами, и отмечают их своей печатью; эта-то правительственная санкция и порождает деньги, т.-е. товар по преимуществу, товар, сохраняющий определенную пропорциональную стоимость при всех потрясениях рынка, и принимаемый при всех платежах... Отличительная черта золота и серебра происходит, повторяю, от того, что, благодаря своим металлическим свойствам, трудности добывания, а главное вмешательству общественной власти, эти товары рано приобрели устойчивость и несомненную подлинность».

Говорить, что из всех товаров золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых конституировалась, — это значит, как видно из вышеизложенного, сказать только, что золото и серебро первые сделались деньгами. Вот великое открытие г. Прудона, вот та истина, которой никто не знал до него.

Если бы г. Прудон хотел этим сказать, что время, необходимое на производство золота и серебра, было определено раньше, чем время, необходимое для производства других товаров, то это опять было бы одним из тех предположений, которыми он так щедро дарит своих читателей. И если бы мы желали придерживаться этой патриархальной эрудиции, мы сообщили бы г. Прудону, что прежде всего было узнано время, необходимое для производства предметов первой необходимости, каковы железо и проч. Мы дарим ему классический лук Адама Смита.

Но каким образом г. Прудон может еще, после всего этого, толковать о конституированной стоимости, несмотря на то, что ни одна стоимость не может конституироваться в отдельности? Стоимость конституируется не временем, необходимым на производство данного продукта в отдельности, а относительным количеством всех других продуктов, могущих быть произведенными в этот же самый промежуток времени. Таким образом, конституирование стоимости золота и серебра заранее предполагает уже конституирование стоимости целой массы других продуктов.

Следовательно, не товар стал «конституированной стоимостью» в виде золота и серебра, а, наоборот, «конституированная стоимость» г. Прудона стала — в виде золота и серебра — деньгами.

Рассмотрим теперь ближе *экономические причины*, которым золото и серебро обязаны, по мнению г. Прудона, тем преимуществом, что, благодаря конституированию их стоимости, эти металлы раньше других товаров были возведены в достоинство денег.

Эти экономические причины суть: «видимая тенденция к господству», «заметное предпочтенье» еще «в патриархальном периоде» и другие словесные выражения того же самого факта, которые только увеличивают наше затруднение, так как через возрастание числа случаев, приводимых г. Прудоном для объяснения факта, увеличивается число фактов, требующих объяснения. Но г. Прудон не исчерпал еще всех так называемых «экономических причин». Вот причина величайшей, непреодолимой силы:

«От правительственной санкции рождаются деньги. Правители овладевают золотом и серебром, и налагают на них свою печать».

Итак, произвол правителей является, по мнению г. Прудона, решающей причиной в области политической экономии!

Поистине нужно не иметь никаких исторических сведений, чтобы не знать того факта, что во все времена правителям приходилось подчиняться экономическим условиям, и никогда не удавалось предписывать им законы. Как политическое, так и гражданское законодательство всегда лишь выражало, заносило в протокол требования экономических отношений.

Правительства ли овладели золотом и серебром, чтобы приложением своей печати сделать из них всемирные средства обмена, или, наоборот, эти всемирные средства обмена овладели правителями, и добились от них приложения печати и политической санкции?

Штемпель, который прикладывали и прикладывают к деньгам, говорит не об их стоимости, а об их весе. То постоянство и подлинность, о которых толкует г. Прудон, относятся только к пробе монеты, и эта проба указывает, сколько чистого металла в ней заключается. «Единственная внутренняя стоимость марки серебра», говорит Вольтер со своим обычным здравым смыслом, «есть марка серебра, пол-фунта серебра весом в восемь унций. Только вес и проба создают эту внутреннюю стоимость». (Вольтер, *Система Лаву*). Но вопрос: сколько стоит унция золота или серебра? — все еще остается неразрешенным. Если бы на кашемире из магазина Grand Colbert выставлялось клеймо фабрики с надписью: *чистая шерсть*, то подобное фабричное клеймо еще ничего не сказало бы нам о стоимости кашемира. Нам все еще оставалось бы узнать, сколько стоит шерсть. «Французский король Филипп I», говорит г. Прудон, «примешал к турецкому ливру Карла Великого одну треть лигатуры. Он вообразил, что, обладая исключительным правом чеканить монету, он может поступать с нею, как поступает со своим товаром каждый торговец-монополист. Что же такое в сущности представляет собою эта подделка монеты, которую вечно ставят в упрек Филиппу и его наследникам? Соображение, очень верное с точки зрения коммерческой рутинны, и совершенно ложное с точки зрения экономической науки, а именно следующее: так как стоимость регулируется спросом и предложением, то можно повысить оценку, а тем самым и стоимость продуктов, произведя искусственную редкость или же завладевши их исключительным производством; и сделать это так же возможно относительно золота и серебра, как относительно хлеба, вина, масла или табака. А между тем, едва только обнаружилось мошенничество Филиппа, его монеты пали до их истинной стоимости, и он потерял все то, что надеялся выиграть на счет своих поданных. Та же судьба постигла и все аналогичные попытки».

Во-первых, много и много раз было уже доказано, что когда государь решает подделывать монету, то он же и теряет при этом. То, что выигрывается один раз, при первом выпуске, теряется затем каждый раз, когда фальсифицированные монеты возвращаются ему в виде налогов и проч. Но Филипп и его наследники умели более или менее уберечься от этой потери, так как, пустивши в обращение поддельную монету, они

тотчас же спешили издать приказ о всеобщей перечежанке монеты по старому образцу.

К тому же, если бы Филипп I действительно рассуждал, как г. Прудон, то его рассуждение вовсе не было бы так хорошо «с коммерческой точки зрения». Ни Филипп I, ни г. Прудон вовсе не обнаруживают больших коммерческих способностей, воображая, что стоимость золота, или какого бы то ни было иного товара, может быть изменена по той одной причине, что стоимость определяется отношением предложения к спросу.

Если бы король Филипп приказал назвать одну меру хлеба двумя мерами, он оказался бы мошенником. Он обманул бы всех рентьеров, всех людей, которым предстояло бы получить по ста мер хлеба; по его милости вместо ста мер они получили бы только по пятидесяти. Предположите, что король был должен кому-нибудь 100 мер хлеба; он мог бы в данном случае заплатить только 50. Но в торговле 100 мер стоили бы ничуть не больше прежних 50. Перемена названия не изменяет вещи. Ни спрос, ни предложение хлеба не уменьшится и не увеличится от одной перемены имени. Поэтому, раз отношение предложения к спросу не изменится, несмотря на эту перемену имени, то и цена хлеба тоже не потерпит никакого действительного изменения. Когда говорят о спросе и предложении, то под этим понимают спрос и предложение вещей, а не их названий. Филипп I не создавал золота и серебра, как это выходит из слов г. Прудона, он создавал только названия монет. Выдайте свои французские кашемиры за азиатские, и очень может быть, что вам удастся обмануть одного или двух покупателей, но едва только плутня откроется, — цена ваших так называемых азиатских кашемиров спустится до цены французских. Прикладывая лживые клейма к золоту и серебру, Филипп I мог обманывать людей лишь до той минуты, пока его проделка не была открыта. Как и всякий другой лавочник, он обманывал своих клиентов ложным обозначением товаров; но это могло длиться лишь некоторое время. Рано или поздно законы торговли должны были отозваться на нем во всей своей строгости. Это ли хотел доказать г. Прудон? Нет, не это. По его мнению, не торговля, а правительство дает деньгам их стоимость. А что доказал он в действительности? Что торговля сильнее правительства, что правительство приказывает марке сделаться отныне двумя марками, а торговля продолжает твердить, что эти две новые марки стоят не больше одной старой.

Но все это ни на шаг не подвигает вопроса о стоимости, определяемой количеством труда. Все еще остается решить, определяется ли стоимость этих двух марок — снова превратившихся в одну прежнюю — издержками производства, или законом спроса и предложения?

Г. Прудон продолжает: «Следует даже заметить, что если бы, вместо подделки монет, король мог удвоить их массу, меновая стоимость золота и серебра тотчас же упала бы на половину все по той же причине пропорциональности и равновесия».

Если верен этот взгляд, разделяемый г. Прудоном с другими экономистами, то он говорит лишь в пользу их теории спроса и предложения.

а вовсе не в пользу пропорциональности г. Прудона. В самом деле, какое бы количество труда ни было воплощено в удвоенной массе золота и серебра, стоимость этой массы упала бы на половину, если бы спрос остался неизменным при удвоенном предложении. Или на этот раз закон пропорциональности случайно совпадает со столь презираемым законом спроса и предложения? Впрочем, эта истинная пропорциональность г. Прудона до такой степени эластична, подвержена стольким изменениям, перестановкам и колебаниям, что легко может совпасть иной раз и с отношением предложения к спросу.

Приписывать «всякому товару если не фактическую, то по крайней мере правовую способность к обмену», и ссылаться при этом на роль золота и серебра — значит не понимать этой роли. Золото и серебро имеют правовую способность к обмену лишь потому, что обладают фактической способностью к нему, а этой последней они обладают потому, что современная организация производства нуждается во всемирном средстве обмена. Право есть лишь официальное признание факта.

Мы видели, что пример денег, как практического приложения конституированной стоимости, избран г. Прудонем лишь с целью провести контрабандным образом всю свою теорию постоянной способности к обмену, т.-е. с целью доказать, что всякий товар, оцененный по издержкам производства, должен сделаться деньгами. Все это было бы прекрасно, не будь того маленького неудобства, что из всех товаров именно золото и серебро, как монеты (т.-е. как знаки стоимости) составляют единственное исключение, и не определяются издержками производства; это до такой степени верно, что в обращении они могут быть заменены бумагой. Пока соблюдается известная пропорция между потребностями обращения и количеством вынужденной монеты — будь она бумажная, золотая, платиновая или медная — не может быть и речи о соблюдении пропорции между внутренней (определяемой издержками производства) и номинальной стоимостью денег. Без сомнения, в международной торговле деньги, как и всякий другой товар, определяются рабочим временем. Но дело в том, что в международной торговле золото и серебро являются средством обмена лишь в своем качестве продуктов, а не в качестве денег, т.-е. они теряют там свойства «устойчивости», «подлинности» и «правительственной санкции», составляющие, по мнению г. Прудона, их специфический характер. Рикардо так хорошо понял эту истину, что, основавши всю свою систему на стоимости, определяемой рабочим временем, и сказавши, что *золото и серебро* так же, как и все другие товары, имеют лишь стоимость, соответствующую количеству труда, необходимого на производство и доставку их на рынок», — он добавляет, тем не менее, что стоимость *денег* определяется не воплощенным в них рабочим временем, а лишь законами предложения и спроса».

«Хотя бумажные деньги и не имеют вовсе внутренней стоимости, но через ограничение в их количестве стоимость их бывает столь же велика, как и стоимость монеты того же наименования, или слитка из такой монеты. В силу того же начала, а именно ограничения в количестве, обращается легковесная монета по такой же стоимости, какую она имела бы,



если бы вес и проба ее были надлежащие, а не по той стоимости, которая соответствует действительному содержанию в ней металла. Вот почему в истории британского монетного дела мы находим, что орудие обращения никогда не обесценивалось в той же пропорции, в какой подвергалось уменьшению веса. Причина этого заключается в том, что количество этого орудия никогда не возрастало в соответствии с уменьшением его внутренней стоимости». (Рикардо, *loc. cit.*).

Вот что замечает Ж.-Б. Сэй по поводу этих слов Рикардо:

«Этого примера достаточно, мне кажется, чтобы убедить автора, что основанием всякой стоимости служит не количество труда, необходимого на производство товара, а потребность в нем, сопоставленная с его редкостью».

Итак, деньги, которые не представляют по мнению Рикардо стоимости, определяемой рабочим временем, и именно по этой причине принимаются Сэем за пример, годный для убеждения Рикардо в том, что и другие стоимости не могут определяться рабочим временем — эти самые деньги, говорю я, которые Сэй приводит, как пример стоимости, определяемой исключительно предложением и спросом, являются по мнению г. Прудона наилучшим примером приложения стоимости, конституированной... рабочим временем.

Чтобы покончить с этим, заметим, что если деньги не представляют собою «стоимости, конституированной» рабочим временем, то еще того меньше могут они иметь что-нибудь общее с правильной «пропорциональностью» г. Прудона. Золото и серебро всегда способны к обмену потому, что имеют специальную функцию служить всемирным средством обмена, а вовсе не потому, что находятся в количестве, пропорциональном общей сумме богатств; или, лучше сказать, они всегда пропорциональны, потому что они одни из всех товаров служат деньгами, всемирным средством обмена, каково бы ни было их количество по отношению к общей сумме богатств. «Деньги никогда не могут находиться в обращении в чрезмерном количестве, потому что, уменьшая их стоимость, вы в той же пропорции увеличите их количество, увеличивая же их стоимость, вы уменьшаете количество». (Рикардо).

«Какая путаница эта политическая экономия!» — восклицает г. Прудон

«Проклятое золото!» не без комизма кричит коммунист устами г. Прудона. С таким же правом можно бы сказать: проклятая пшеница, проклятый виноград, проклятые овцы! — потому что, «подобно золоту и серебру, всякая торговая стоимость должна прийти к точному и строгому определению».

Мысль о сообщении денежных свойств овцам и винограду не отличается повизною. Во Франции она принадлежит веку Людовика XIV. В эту эпоху, когда стало упорчиваться всемогущество денег, слышались жалобы на обесценение всех других товаров и раздались горячие призывы того момента, когда «все торговые стоимости» достигнут точного и строгого определения, сделаются деньгами. Вот что находим мы уже у Буа-Гильбера, одного из старейших экономистов Франции: «Тогда деньги, благодаря

вторжению бесчисленных конкурентов в лице самих товаров, восстановленных в их истинной стоимости, будут введены, в свои естественные границы». (*Economistes financiers du dix-huitième siècle*, p. 422 édit. Daire).

Как видно, первые иллюзии буржуазии являются также и последними ее иллюзиями.

## Б. Излишек труда.

«В политико-экономических сочинениях встречается иногда следующая нелепая гипотеза: *если бы удвоилась цена всех продуктов...* Как будто цена всех продуктов не есть их отношение, и как будто отношение, пропорция или закон могут быть удвоены!» (Прудон, т. I, стр. 81).

Экономисты впади в это заблуждение благодаря тому, что не умели применить «закон пропорциональности» и «конституированной стоимости».

К несчастью, на 110 стр. первого тома сочинения самого г. Прудона мы встречаемся с той нелепой гипотезой, по которой «возрасла бы цена всех продуктов, если бы заработная плата испытала общее повышение». Кроме того, если в политико-экономических сочинениях и попадает упомянутая фраза, то там же находится и ее объяснение. «Если говорят, что повышается или понижается цена всех товаров, то при этом всегда исключается тот или другой товар; обыкновенно так поступают с деньгами или с трудом». (*Encyclopaedia Metropolitana or Universal Dictionary of Knowledge*, vol. IV, статья Political Economy, by Senior. London, 1836. Срав. также—*Essays on some unsettled questions of political economy*, London 1844, Дж.-Ст. Милля и Тука: *An history of prices etc.*, London 1838).

Перейдем теперь ко *второму приложению* «конституированной стоимости» и других пропорциональностей, единственный недостаток которых заключается в том, что они мало пропорциональны; посмотрим также, не будет ли г. Прудон в этом случае счастливее, чем в попытке превращения *баранов в деньги*.

«Общим признанием экономистов пользуется та аксиома, по которой всякий труд должен оставлять известный излишек. Для меня это положение имеет значение всеобщей и безусловной истины; это — необходимое дополнение закона пропорциональности, который можно рассматривать, как сжатое выражение всей экономической науки. Но пусть извинят меня г.г. экономисты: с точки зрения их теории, принципа, по которому *всякий труд должен оставлять известный излишек*, — не имеет смысла, и не может подлежать какому бы то ни было *доказательству*». (Прудон).

Чтобы доказать, что всякий труд должен оставлять известный излишек, г. Прудон олицетворяет общество; он делает из него *обществолицо*, которое далеко не то же самое, что общество, состоящее из лиц. потому что у него есть свои особые законы, чуждые всякой связи с составляющими общество лицами, у него есть свой «собственный ум» — не обыкновенный человеческий ум, а ум, не вмещающий никакого человеческого

смысла. Г. Прудон упрекает экономистов в непонимании того, что это коллективное существо имеет свою личность. Мы считаем не лишним противопоставить его словам следующую выписку из сочинения одного американского экономиста, который упрекает других экономистов в совершенно противоположном: «Моральному лицу (the moral entity), грамматическому существу (the grammatical being), называемому обществом, были приписаны свойства, на самом деле существующие лишь в воображении тех, которые превращают слова в вещи... Вот что причинило в политической экономии множество трудностей и печальных ошибок». (Th. Cooper, Lectures on the Elements of Political Economy, Columbia 1826).

«По отношению к отдельным личностям — продолжает г. Прудон — этот принцип излишка труда верен лишь потому, что он происходит из общества, которое распространяет, таким образом, на них благоденствия своих собственных законов».

Хочет ли г. Прудон этим сказать, что лицо, живущее в обществе, может произвести гораздо больше, чем изолированная личность? Говорит ли об этом излишке производства ассоциированных личностей сравнительно с производством лиц, несвязанных между собою? Если — да, то мы можем процитировать для его назидания целую сотню экономистов, выразивших эту простую истину без того мистицизма, которым окружает ее г. Прудон. Вот что пишет, например, г. Сэдлер:

«Соединенный труд, дает такие результаты, к каким никогда не мог бы привести труд индивидуальный. Значит, по мере того, как человечество будет возрастать в своей численности, продукты его совокупного промышленного труда будут значительно превышать ту сумму, которая получается от простого сложения чисел, соответствующих приросту населения. В настоящее время, как в механических искусствах, так и в научных работах, каждый человек может в один день сделать больше, чем изолированная личность сделала бы во всю свою жизнь. В применении к нашей науке оказывается неверной математическая аксиома, гласящая, что целое равно своим частям. Что касается труда, этой великой опоры человеческого существования (the great pillar of human existence), то можно сказать, что продукт соединенных усилий далеко превышает все, что когда-либо могли создать индивидуальные и разъединенные усилия». (T. Sadler, The law of population, London 1830).

Возвратимся к г. Прудону. Излишек труда — говорит он — находит свое объяснение в обществе-лице. Жизнь этого лица подчиняется таким законам, которые противоположны законам, определяющим деятельность отдельного человека; г. Прудон хочет доказать это «фактами».

«Никакой новый прием в области производства никогда не может принести своему изобретателю выгоды, равной с тою, которую он приносит обществу. Было замечено, что железнодорожные предприятия служат в гораздо меньшей степени источником обогащения предпринимателей, чем государства. Провоз товаров на подводах обходится средним числом по 18 сантимов с тонны и километра, с нагрузкой и разгрузкой включительно. Было рассчитано, что при таком тарифе обыкновенное железно-

дорожное предприятие не дало бы и 10<sup>0</sup>/о чистого дохода, т.-е. принесло бы почти столько же, сколько даст перевозка по шоссейным дорогам. Но предположим, что скорость перевозки по железным дорогам относится к скорости перевозки по шоссейным путям как 4 к 1: так как для общества время есть сама стоимость, то, при равенстве цен, железная дорога будет давать по сравнению с шоссе прибыль в 400<sup>0</sup>/о. Между тем, эта огромная, очень реальная для общества прибыль далеко не реализуется в той же пропорции для железнодорожника: доставляя обществу 400<sup>0</sup>/о прибыли, он не приобретает для себя и 10<sup>0</sup>/о. В самом деле, предположим для наглядности, что железная дорога подняла тариф до 25 сантимов, тогда как подводы продолжают перевозить по 18; в таком случае первая тотчас же лишилась бы всех товарных кладей. Отправители и получатели все возвратились бы к старым фурам или даже, если бы понадобилось, и к телегам. Локомотив был бы покинут; общественная прибыль в 400<sup>0</sup>/о была бы принесена в жертву частной потере в 35<sup>0</sup>/о. И понятно почему: выгода от быстроты железнодорожного движения есть выгода чисто общественная; каждый в отдельности пользуется ею лишь в самых незначительных размерах (не следует забывать, что речь идет теперь лишь о перевозке товаров), тогда как потеря падает прямо и лично на потребителя. Общественная прибыль, равная 400, представляет для отдельной личности, — если общество состоит только из миллиона человек, — всего-навсего четыре десятитысячных; потеря же каждым потребителем 33<sup>0</sup>/о предполагала бы общественный дефицит в 33 миллиона». (Прудон).

Пусть бы еще г. Прудон выражал учетверенную скорость 400<sup>0</sup>/о первоначальной скорости. Но сопоставлять проценты скорости с процентами прибыли, и устанавливать пропорцию между двумя отношениями, которые, — если и измеряются, каждое в отдельности, процентами, — остаются, тем не менее, не соизмеримыми между собою, это значит устанавливать пропорцию между процентами, не обращая внимания на различие их наименования.

Проценты всегда остаются процентами. 10<sup>0</sup>/о и 400<sup>0</sup>/о соизмеримы, они относятся друг к другу как 10 к 400. Следовательно, решает г. Прудон, 10<sup>0</sup>/о прибыли стоят в 40 меньше учетверенной скорости. Чтобы сохранить правдоподобие, он замечает, что для общества время есть стоимость (time is money). Он впадает в эту ошибку потому, что смутно припоминает о каком-то отношении между стоимостью и рабочим временем, и спешит отождествить рабочее время с временем перевозки, т.-е. он принимает за целое общество только кочеваров, кондукторов и т. п., рабочее время которых есть действительно время перевозки. Таким образом, внезапно превративши быстроту в капитал, он уже с полным правом говорит, что «прибыль в 400<sup>0</sup>/о будет пожертвована потере в 33<sup>0</sup>/о». Уставивши свое странное положение как математик, он объясняет его нам с точки зрения экономиста:

«Общественная прибыль, равная 400, представляет для отдельной личности, если общество состоит только из миллиона человек, всего на

всего четыре десяти-тысячных». Согласен; но ведь дело идет не о 400, а о 400<sup>0</sup>/<sub>0</sub>; прибыль же в 400<sup>0</sup>/<sub>0</sub> и для отдельной личности представляет ни больше ни меньше, как 400<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Каков бы ни был капитал, дивиденды всегда будут в этом случае равняться 400<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Что сделал г. Прудон? Он принял проценты за капитал, и, точно опасаясь, что наделанная им путаница окажется не достаточно непитной и не вполне «связательной», он продолжает:

«Понесенная потребителем потеря в 33<sup>0</sup>/<sub>0</sub> предполагала бы общественный дефицит в 33 миллиона». Понесенная одним потребителем потеря в тридцать три процента останется потерей в 33<sup>0</sup>/<sub>0</sub> и для миллиона потребителей. И как это г. Прудон может утверждать, что в случае потери, равной 33<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, — общественный дефицит достигнет 33 миллионов; ведь он не знает ни величины общественного капитала, ни даже размеров капитала кого бы то ни было из заинтересованных лиц? Таким образом, г. Прудон не довольствуется тем, что смешивает *капитал* с *процентами*, он превосходит самого себя, отождествляя *капитал* предпринятия с *числом* заинтересованных в нем лиц.

«В самом деле, предположим для наглядности» какой-нибудь определенный капитал. Общественная прибыль в 400<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, распределенная между миллионом участников, — внесших по одному франку каждый, — дает 4 франка прибыли на человека, а не 0,0004, как думает г. Прудон. Точно так же, понесенная каждым из участников потеря в 33<sup>0</sup>/<sub>0</sub> представляет собою общественный дефицит в 330.000 франков, а не в 33.000.000 ( $100 : 33 = 1.000.000 : 330.000$ ).

Занятый своей теорией общества-лица, г. Прудон забывает разделить на 100; он получает, таким образом, 33.000.000 франков потери; 4 франка прибыли на человека — составляют для общества прибыль в 4.000.000. Таким образом, чистый доход общества равняется 3.670.000 франков. Это точное вычисление доказывает совершенно противоположное тому, что хотел доказать г. Прудон, а именно, что выгоды и потери общества вовсе не обратно пропорциональны выгодам и потерям отдельных личностей.

Исправивши эти малевкие арифметические ошибки, взглянем на последствия, к которым пришли бы мы, если бы решились принять для железных дорог указываемое г. Прудоном отношение скорости к капиталу, без свойственных его вычислений арифметических ошибок. Предположим, что вчетверо более быстрая перевозка стоит вчетверо дороже; в таком случае эта перевозка приносила бы не меньшую прибыль, чем перевозка на «одводах», вчетверо более медленная и стоящая вчетверо дешевле. Значит если перевозка на подводах обходится по 18 сантимов, то железная дорога могла бы брать по 72. Это было бы «строго-математическим следствием» из предположений г. Прудона, опять таки очищенных от его арифметических ошибок. Но совершенно неожиданно он объявляет нам, что если бы железная дорога стала брать даже не 72, а только 25 сантимов, то и тогда никто не захотел бы перевозить по ней товары. Конечно, в таком случае очевидно пришлось бы вернуться к фурам и даже к телегам.

Мы советуем. однако, г. Прудону не забывать производить деление на сто в своей «Программе прогрессивной ассоциации». Но увы! У нас нет ни малейшей надежды на то, что наш совет будет услышан, ибо г. Прудон до такой степени восхищен своим — соответствующим «прогрессивной ассоциации» — «прогрессивным» расчетом, что у него вырывается напыщенное восклицание: «Разрешением ангинозии стоимости я уже, в) второй главе, показал, что полезное открытие неизмеримо менее выгодно для самого изобретателя, — как бы ни заботился он о своей выгоде, — чем для целого общества; доказательство этой мысли доведено мною до математической точности!»

Возвратимся к фикции общества-лица, фикции, введенной с единственной целью доказать ту простую истину, что каждое новое открытие понижает рыночные цены продуктов, давая возможность посредством того же количества труда производить большее количество товаров. Общество выигрывает при этом не потому, что приобретает большее количество меновых стоимостей, а потому, что та же стоимость дает ему больше товаров. Что же касается до изобретателя, то, под влиянием конкуренции, его прибыль постепенно падает до общего уровня. Доказал ли г. Прудон это положение, которое он хотел доказать? Нет. Но это не помешало ему, однако, упрекнуть экономистов в том, что они оставили это положение недоказанным. Чтобы убедить его в противном, процитируем только Рикардо и Лодердаля. Рикардо — глава школы, определяющей стоимость рабочим временем; Лодердаль — один из решительнейших защитников определения стоимости спросом и предложением. Но и тот и другой доказывают одно и то же положение.

«Постоянно облегчая производство, мы постоянно уменьшаем стоимость некоторых, раньше произведенных, вещей, хотя в то же время увеличиваем не только национальное богатство, но и возможность будущего производства... Поэтому, как только нам удастся, посредством машины или с помощью наших фабричных знаний, заставить силы природы совершать труд, выпадавший прежде на долю людей, — неизбежно понижается меновая стоимость произведенного таким образом продукта. Если прежде нужно было десять человек, чтобы вертеть ручную машину, а затем было открыто, что их труд можно заменить силою воды или ветра, то стоимость продукта мельничной работы — муки — тотчас же должна была понизиться пропорционально сумме сбереженного труда; и так как фонд, предназначенный на содержание этих десяти человек, нисколько не уменьшился, то богатство общества возрасло на всю ту стоимость, которая может быть создана их трудом». (Рикардо).

С своей стороны, Лодердаль говорит:

«Прибыль на капитал всегда бывает результатом того обстоятельства, что он берет на себя ту часть работы, которая иначе должна была бы выполняться руками людей, или даже превысила бы личные силы человека, обязалась бы для него невыносимою. Незначительность прибыли, достигающейся владельцам машин, по сравнению ее с ценой труда, или замещаемого, даст быть может повод усомниться в правильности нашего»

взгляда. Так, например, паровой насос в один день выкачивает из каменноугольной копи больше воды, чем могли бы вынести триста человек, если бы даже они расположились цепью; и не подлежит никакому сомнению, что насос выполняет эту работу с гораздо меньшими издержками. То же можно сказать и относительно всех других машин. Они выполняют по удешевленной цене тот труд, который совершался прежде руками замещенных ими людей... Предположим, что изобретатель машины, заменяющий труд четырех человек, получил патент; так как вследствие привилегии у него не может быть иной конкуренции, кроме рабочих рук, то ясно, что, пока длится привилегия, он может сообразовать цену своих продуктов с заработной платой замещенных его машиной рабочих; понятно, что, желая обеспечить себе заказы, он будет брать несколько меньше этой платы. Но, как только кончается срок привилегии, появляются другие машины того же самого рода и вступают в конкуренцию с его собственной. Тогда цена его продуктов подчиняется влиянию общего закона, и становится в зависимость от количества машин. Хотя прибыль на затраченный капитал и является результатом замещенного труда, но в окончательном счете она регулируется не стоимостью этого труда, а конкуренцией между капиталистами — как это мы видим и во всех других случаях. Сила же такой конкуренции всегда определяется отношением между количеством предлагаемых для данной цели капиталов и спросом на них».

В конце концов, оказывается, следовательно, что если в новой отрасли промышленности прибыль будет выше, нежели в остальных, то капиталы будут устремляться в нее до тех пор, пока прибыль не упадет до общего уровня.

Мы только что видели, насколько пример железных дорог способен пролить хоть какой-нибудь свет на фикцию общества-лица. Однако, г. Прудон смело продолжает свое рассуждение: «Коль скоро выяснена эта сторона дела, — вот ничего легче, как объяснить, почему труд каждого производителя должен приносить ему излишек».

Далее следует нечто, относящееся к области классической древности, и именно — поэтический рассказ, на котором может отдохнуть читатель, утомянный строгой точностью предшествовавших математических доказательств. Г. Прудон дает своему обществу-лицу имя *Прометей*, и следующим образом прославляет его подвиги:

«Сначала, выйдя из недр природы, Прометей пробуждается к жизни в бездействии, полном прелести и проч. и проч. Но вот Прометей принимается за дело, и с первого же дня (первого со времени второго творения) продукт его труда, т. е. его богатство и благосостояние, равняется десяти. На второй день Прометей приходит к разделению своего труда, и его продукт возрастает до ста. На третий, в каждый из следующих дней, Прометей изобретает машины, открывает новые, полезные свойства тел, новые силы природы... С каждым шагом его промышленной деятельности увеличивается цифра его производства, предвещая ему увеличение его счастья. Наконец, так как для него потреблять значит производить,

то ясно, что каждый день потребления, унося с собою лишь продукт предыдущего дня, оставляет ему излишек для завтрашнего потребления».

Престранная особа этот Прометей г. Прудона! Он так же слаб в логике, как и в политической экономии. Пока он ограничивается тем, что изучает нас, каким образом разделение труда, применение машин, пользование силами природы и техническими знаниями — увеличивает производительные силы людей и дает излишек по сравнению с продуктами изолированного труда, этот новый Прометей грешит только тем, что является слишком поздно. Но как только Прометей пускается в рассуждение о производстве и потреблении, — он положительно делается смешным. Потреблять для него значит производить; он ежедневно потребляет лишь продукт предыдущего дня, и таким образом всегда имеет один рабочий день в запасе. Этот запасной день и составляет его «излишек труда». Но, потребляя сегодня продукт вчерашнего производства, Прометей должен был в первый день, не имевший предыдущего, заработать сразу на два дня, чтобы иметь, затем, один рабочий день в запасе. Как мог он достичь этого излишка в первый день, когда не было ни разделения труда, ни машин, ни знакомства с другими силами природы, кроме силы огня? Таким образом, отодвигая вопрос к «первому дню второго творения», мы не уясняем его ни на волос. Этот отчасти греческий, отчасти еврейский, одновременно и мистический и аллегорический прием объяснения явлений дает г. Прудону полное право сказать: «Закон, по которому всякий труд должен оставлять излишек — доказан мною как с помощью теоретических соображений, так и посредством фактов».

Факты — это знаменитое прогрессивное исчисление; роль теории играет миф о Прометее.

«Но этот принцип, обладающий несомненностью арифметических истин, осуществлен еще далеко не для всех на свете — продолжает г. Прудон. — Между тем как прогресс коллективной промышленности постоянно увеличивает продукт каждого индивидуального рабочего дня, и между тем как необходимым следствием этого увеличения должно бы быть постепенное обогащение работника, получающего неизменную плату — мы видим, что некоторые классы общества обогащаются, другие же гибнут от нищеты».

В 1770 году население Соединенного Королевства Великобритании достигало 15 миллионов, производительная же часть населения составляла три миллиона. Производительная сила технических усовершенствований соответствовала приблизительно 12 миллионам рабочих; следовательно, общая сумма производительных сил равнялась 15 миллионам. Таким образом, производительные силы относились к населению как 1 к 1, техническая же производительность относилась к производительности ручного труда как 4 к 1.

В 1840 году население не превосходило 30 миллионов, его производительная часть равнялась 6 миллионам, тогда как техническая производительность достигла 650 миллионов, т.-е. относилась к общей сумме



населения как 21 к 1, к производительности же ручного труда — как 108 к 1.

Производительность рабочего дня в английском обществе увеличилась, следовательно, в течение семидесяти лет на 2,700 процентов, т.-е. в 1840 году было произведено в двадцать семь раз больше, чем в 1770. Г. Прудон спросил бы: почему английский рабочий 1840 года не сделался в двадцать семь раз богаче рабочего 1770 года? Такой вопрос заранее, конечно, предполагает, что англичане могли бы произвести все это богатство помимо тех исторических условий, при которых оно было произведено, т.-е. без накопления частных капиталов, без современного разделения труда, без употребления машин, без анархической конкуренции, без наемных рабочих рук, словом, безо всего того, что основывается на антагонизме классов. Но именно эти-то условия и были существенно необходимы для развития производительных сил и возрастания излишка продуктов. Следовательно, чтобы развить такие производительные силы и такой излишек продуктов, необходимо было существование классов, из которых одни богатели, другие же погубили от нищеты.

Но что же такое, наконец, этот воскрешенный Г. Прудон Прометей? Это — общество, это — основанные на антагонизме классов общественные отношения, т.-е. не отношения одного отдельного лица к другому лицу, а отношение рабочего к капиталисту, арендатора к земле-владельцу и проч. Уничтожьте эти общественные отношения, и вы уничтожите все общество. Ваш Прометей превратится в привидение без рук и без ног, т.-е. без машин и без разделения труда, наконец, безо всего того, чем вы заранее его снабдили для получения излишка продуктов.

Если в теории было достаточно истолковать в пользу равенства формулу излишка продуктов, доставляемых трудом — как это и делает Г. Прудон, — не принимая во внимание современных условий производства, то и на практике было бы достаточно разделить поровну между рабочими существующие теперь богатства, ничего не изменяя в современных условиях производства. Такой дележ не упрочил бы, конечно, за своими участниками особенно большого благополучия.

Однако, Г. Прудон вовсе не такой пессимист, каким он может показаться. Так как для него все дело сводится к пропорциональности, то в своем, во всеоружии являвшемся, Прометее, т.-е. в современном обществе, он не может не видеть начала осуществления своей излюбленной идеи.

«Но прогресс богатства, т.-е. *пропорциональной стоимости*, везде является господствующим законом; и когда экономисты противопоставляют жалобам социалистической партии усиливающийся рост национального богатства и облегчения положения даже самых несчастных классов общества, то, сами того не подозревая, они провозглашают истину, осуждающую их же теории».

Что такое в сущности общественное богатство, национальное благосостояние? Это — богатство буржуазии, но не богатство каждого отдельного буржуа. Прекрасно; но экономисты только доказали, что при

существующих условиях производства растет и должно еще более расти богатство буржуазии. Что же касается рабочего класса, то большой еще вопрос — улучшилось ли его положение вследствие увеличения так называемого общественного богатства. Когда, отставив свой оптимизм, экономисты ссылаются на пример английских рабочих, занятых в хлопчатобумажной промышленности, то они рассматривают их положение лишь в редкие моменты промышленного процветания. К эпохам кризиса и застоя такие моменты находятся в «правильно-пропорциональном» отношении 3 к 10. Или, говоря об улучшении, экономисты имеют в виду те миллионы рабочих, которые должны были погибнуть в Ост-Индии, чтобы доставить 1½ миллионам, занятых в той же отрасли промышленности английских рабочих, 3 года процветания в каждые 10 лет?

Что касается временного участия в росте национального богатства, то это — вопрос другой. Факт этого временного участия объясняется теорией экономистов. Он подтверждает ее, а никоим образом не «осуждает» — как говорит г. Прудон. Если что-нибудь и подлежит осуждению, то, конечно, система г. Прудона, которая сводит, как мы видели, рабочих на минимум заработной платы, несмотря на рост богатства. Только осудивши рабочего на минимум заработной платы, Прудон мог применить к труду принцип правильной пропорциональности стоимостей, принцип «стоимости, конституированной»... рабочим временем. Лишь потому, что, под влиянием конкуренции, заработная плата колеблется, то поднимаясь выше, то падая ниже необходимых для его существования жизненных средств — только потому рабочий и может в некоторой, хотя бы самой ничтожной, степени воспользоваться ростом общественного богатства. Но именно потому для него возможна также и голодная смерть. Это и есть теория экономистов, которые чужды, в данном случае, каких бы то ни было иллюзий.

После долгих отступлений по вопросу о железных дорогах, о Прометее и о новом обществе, которое нужно переконституировать (перестроить) на основе «конституированной стоимости», г. Прудон впадает в сосредоточенное настроение, им овладевает наплыв чувств, и он восклицает отеческим тоном:

«Я заклинаю экономистов хоть однажды подумать искренно, отрезвившись от смущающих их предрассудков, от забот о занимаемых или ожидаемых ими местах, об интересах, которым они служат, об избираемых голосах, которых они добиваются, об отличиях, льстящих их тщеславию — подумать и сказать: представлялся ли им до сих пор принцип, в силу которого всякий труд должен давать излишек, со всею цепью сделанных нами посылок и выводов?»

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

# МЕТАФИЗИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ.

### § 1. Метод.

Теперь мы в самом сердце Германии! Рассуждая о политической экономии, мы должны будем в то же самое время рассуждать о метафизике. И в этом случае мы последуем лишь за «противоречиями» г. Прудона. Только что заставлял он нас говорить по английски, превращаться в большей или меньшей степени в англичанина. Теперь сцена меняется. Г. Прудон переносит нас в наше дорогое отечество, и заставляет нас опять сделаться немцем, против нашей воли.

Если англичанин превращает людей в шляпы, то немец превращает шляпы в идеи. Англичанин это — Рикардо, богатый банкир и выдающийся экономист; немец это — Гегель, скромный профессор философии в берлинском университете.

Людовик XV, бывший последним абсолютным королем и представителем упадка французской монархии, имел лейб-медика, который, в свою очередь, был первым экономистом Франции. Этот медик, этот экономист, был представителем близкого и верного торжества французской буржуазии. Доктор Кенэ сделал из политической экономии науку; он резюмировал ее в своем знаменитом сочинении «Tableau économique». Кроме тысячи и одного комментария, которые были написаны к этому сочинению, мы имеем комментарий, автором которого был сам доктор. Это — «L'analyse du Tableau Economique», сопровождаемый семью *важными замечаниями*.

Г. Прудон есть новый доктор Кенэ. Он — Кенэ метафизики политической экономии.

Но метафизика, как и вся вообще философия, резюмируется, по мнению Гегеля, в методе. Мы должны, следовательно, постараться выяснить метод г. Прудона, по меньшей мере столь же темный, как и «Tableau Economique». С этою целью, мы сами сделаем семь более или менее важных замечаний. Если доктор Прудон останется недоволен нашими замечаниями, то в таком случае он может принять на себя роль аббата Вэдо, и написать «объяснение экономико-метафизического метода».

### Первое замечание.

«Мы имеем здесь в виду не ту историю, которая соответствует порядку времени, а ту, которая соответствует последовательности идей. Экономические фазы или категории иногда бывают одновременны в своих проявлениях, иногда же идут в обратном порядке... Тем не менее, экономические категории имеют свою логическую последовательность и свою связь (серию) в разуме; именно эту-то связь и последовательность нам и удалось, как мы думаем, открыть». (Прудон, т. I. стр. 146).

Очевидно, г. Прудон хотел нагнать страху на французов забрасывая их этими, будто бы гегельянскими, фразами. Оказывается, что мы имеем теперь дело уже с двумя писателями: во-первых с г. Прудоном, а во-вторых—с Гегелем. Чем отличается г. Прудон от других экономистов? Какую роль играет Гегель в политической экономии г. Прудона?

Экономисты изображают отношения буржуазного производства—разделение труда, кредит, деньги и т. д.—как вечные, неизменные, неподвижные категории. Г. Прудон, который имеет пред собою эти категории в совершенно законченном виде, хочет объяснить нам образование и происхождение всех этих категорий, принципов, законов, идей, мыслей.

Экономисты объясняют вам, как совершается производство при этих данных отношениях; но у них остается невыясненным способ производства самих этих отношений, т. е. то историческое движение, которое их порождает. Так как г. Прудон принимает эти отношения за принципы, за категории, за абстрактные мысли, то ему остается лишь привести в порядок эти мысли, которые можно найти в алфавитном указателе, в конце любого трактата по политической экономии. Материалом для экономистов служит деятельная и подвижная человеческая жизнь; материалом для г. Прудона служат догматы экономистов. Но раз мы упускаем из виду историческое развитие отношений производства, для которых категории служат лишь теоретическим выражением, раз мы видим в этих категориях лишь идеи, лишь независимые от действительных отношений мысли, мы волей-неволей должны искать происхождения этих мыслей в движении чистого разума. Как порождает эти идеи чистый, вечный, безличный разум? Каким образом создает он их?

Если бы по отношению к гегельянству мы обладали неустрашимостью г. Прудона, то мы сказали бы, что разум различается в самом себе и от себя. Что это значит? Так как безличный разум не имеет вне себя ни почвы, на которую он мог бы стать, ни объекта, которому он мог бы противостоять, ни субъекта, с которым он мог бы соединиться, то он поневоле должен делать скачки, ставя самого себя, противопоставляя себя самому же себе, и соединяясь с самим собою: положение, противоположение, сложение, или, по-гречески, тезис, антитезис, синтезис. Что касается читателей, незнакомых с гегельянским языком, то мы откроем им таинственную формулу: она означает положение, отрицание, отрицание

отрицания. Вот смысл этих слов. Это конечно не древне-еврейский язык, с позволения г. Прудона, а язык этого, столь чистого разума, взятого отдельно от личности. Вместо обыкновенного индивидуума, с его обыкновенной манерой говорить и мыслить, мы имеем здесь не что иное, как эту обыкновенную манеру в ее чистом виде, независимо от индивидуума.

Можно ли удивляться тому, что в последней степени абстракции — так как мы имеем здесь дело с абстракцией, а не с анализом — всякая вещь является в виде логической категории? Можно ли удивляться тому, что, устраняя мало-по-малу все, составляющее отличительную особенность данного дома, отвлекаясь от материалов, из которых он построен, от формы, которая ему свойственна, — мы получаем, наконец, лишь тело вообще; что отвлекаясь от размеров этого тела, мы оставляем в результате лишь пространство; что, отвлекаясь от пределов этого пространства, мы приходим, наконец, к тому, что имеем дело лишь с количеством в чистом виде, с логической категорией количества? Последовательно отвлекаясь, таким образом, от всякого субъекта, от всех его, так называемых, случайных признаков, одушевленных или неодушевленных, людей или вещей, — мы можем сказать, что в последней степени абстракции у нас есть лишь логические категории, как субстанции всех вещей. С своей стороны, метафизики, — воображающие, что эти абстракции составляют анализ, и думающие, что, все более и более удаляясь от предмета, они приближаются к его пониманию, — метафизики по своему праву, говоря, что в нашем мире вещи представляют собою лишь узоры, для которых логические категории служат канвою. Этим-то и отличается философ от христианина. Вопреки логике, христианин знает лишь одно воплощение Logos'a («Слова»); у философа нет конца этим воплощениям. Все существующее, все живущее на земле или в воде, может быть сведено с помощью абстракции к логической категории; удивительно да, что весь действительный мир может, таким образом, потопнуть в море абстракций и логических категорий?

Все существующее, все живущее на земле или в воде, существует и живет лишь в силу известного движения. Так, историческое движение создает общественные отношения, промышленное движение дает нам промышленные продукты и т. д.

Как посредством абстракции мы превращаем всякую вещь в логическую категорию, точно так же нам стоит только отвлечься от отличительных признаков различных родов движения, чтобы прийти к движению в абстрактном виде, к чисто формальному движению, к чисто логической формуле движения. И если в логических категориях мы видим субстанцию всех вещей, то нам нетрудно вообразить, что в логической формуле движения мы нашли *абсолютный метод*, который не только объясняет каждую вещь, но и обуславливает движение каждой вещи.

Об этом абсолютном методе Гегель выражается следующим образом: «Метод есть абсолютная, единая, высшая, бесконечная сила, которой ничто не может противостоять; это стремление разума найти и познать себя в каждой вещи». (Логика, III т.).

Если всякая вещь сводится к логической категории, а всякое движение, всякий акт производства—к методу, то отсюда само собою следует, что вся совокупность продуктов и производства, предметов и движения сводится к прикладной метафизике. Г. Прудон хочет сделать для политической экономии то же, что Гегель сделал для религии, права и т. д.

Итак, что же такое абсолютный метод? Абстракция движения. Что такое абстракция движения? Движение в абстрактном виде. Что такое движение в абстрактном виде? Чисто логическая формула движения, или движение чистого разума. В чем состоит движение чистого разума? В том, что он ставит себя, противопоставляет себя самому себе, и соединяется с самим собою, в том, что он формулируется в тезис, антитезис и синтезис, или, наконец, в том, что он себя полагает, отрицает и отрицает свое отрицание.

Но каким же образом полагает себя разум, каким образом он ставит себя, как определенную категорию? Это уж дело самого разума и его аналогетов.

Но раз он поставил себя как тезу, эта теза, эта мысль, противопоставляясь сама себе, разделяется на две, одна другой противоречащие, мысли, на положение и отрицание, на *да* и *нет*. Борьба этих двух заключающихся в антитезе противоположных элементов образует диалектическое движение. *Да* превращается в *нет*, *нет* превращается в *да*, *да* становится одновременно и *да* и *нет*, *нет* становится одновременно и *нет* и *да*. Таким путем противоположности взаимно уравниваются, нейтрализуются и парализуются. Слияние этих двух, одна другой противоречащих, мыслей образуют новую мысль — их синтезис. Эта новая мысль опять разделяется на две противоположные мысли, которые, в свою очередь, сливаются в новом синтезисе. Этот процесс рождения создает группу мыслей. Группа мыслей подчиняется тому же движению, как и простая категория, и имеет в качестве своей антитезы другую, противоположную ей группу. Из этих двух групп мыслей возникает новая группа мыслей — их синтезис.

Как из диалектического движения простых категорий рождается группа, так из диалектического движения групп возникает серия, а диалектическое движение серий порождает всю совокупность системы.

Приложите этот метод к категориям политической экономии — и вы получите логику и метафизику политической экономии, или, другими словами, — вы переведете всем известные экономические категории на мало известный язык, благодаря которому они получают такой вид, как будто бы только что родились в голове полной чистого разума: до такой степени эти категории кажутся порождающими одна другие, связанными и переплетенными одна с другими под влиянием одного только диалектического движения. Пусть читатель не пугается этой метафизики, со всем ее зданием категорий, групп, серий и систем. Несмотря на величайшее старание взобраться на высоту *системы противоречий*, г. Прудон никогда не мог подняться выше двух первых ступеней: простой тезы и

антитезы, да и сюда он доходил лишь два раза, причем один раз опрокинулся на спину.

До сих пор мы излагали только диалектику Гегеля. Ниже мы увидим, каким образом г. Прудону удалось привести ее к более скромным размерам. По мнению Гегеля, все, что происходило, и все, что происходит еще в мире тождественно с тем, что происходит в его собственном мышлении. Таким образом, философия истории оказывается лишь историей философии и притом его собственной философии. Нет более истории, «соответствующей порядку времен»; существует лишь «последовательность идей в разуме». Он воображает, что строит жир посредством движения мысли; между тем как, в действительности, он лишь систематически цестраивает, и располагает согласно своему методу те мысли, которые находятся в головах у всех и у каждого.

### Второе замечание.

Экономические категории представляют собою лишь теоретические, отвлеченные выражения общественных отношений производства. Как истинный философ, г. Прудон понимает вещи на выворот, и видит в действительных отношениях лишь воплощение принципов и категорий, которые дремали, как сообщает нам тот же г. Прудон-философ, в недрах «безличного разума человечества».

Г. Прудон-экономист очень хорошо понял, что люди выделяют сукно, полотно, шелковые ткани и проч. при определенных отношениях производства. Но он не понял того, что эти определенные общественные отношения так же точно произведены людьми, как и полотно, лен и т. д. Общественные отношения тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые производительные силы, люди изменяют свои способы производства, а изменяя свои способы производства, способы обеспечения своей жизни, — они изменяют все свои общественные отношения. Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — временно-капиталистическое общество.

Те же самые люди, которые строят социальные отношения соответственно своему способу материального производства, производят также принципы, идеи и категории соответственно своим общественным отношениям.

Таким образом, эти идеи и категории столь же мало вечны, как и выражаемые ими отношения. Они представляют собою *исторические и переходящие продукты*.

Непрерывно совершается движение роста производительных сил, разрушение общественных отношений, возникновение идей; неподвижной остается лишь абстракция движения — *mors immortalis*.

### Третье замечание.

В каждом обществе отношения производства образуют одно целое. Г. Прудон рассматривает экономические отношения как общественные фазы, которые порождают одна другую, вытекают одна из другой, как антитеза из тезы, и в своей логической последовательности осуществляют безличный разум человечества.

Единственное неудобство этого метода состоит в том, что, приняв за исследование одной из этих фаз, г. Прудон не может объяснить ее без помощи всех других общественных отношений, тех самых отношений, которых он не успел еще вызвать к жизни посредством своего диалектического движения. А когда г. Прудон переходит затем, с помощью чистого разума, к созданию других фаз, то он обращается с этими последними как с новорожденными детьми, забывая, что они столь же стары, как и первая фаза.

Таким образом, чтобы конституировать стоимость, которая есть, по его мнению, основа всякого экономического развития, он не мог обойтись без разделения труда, без конкуренции и т. д. А между тем, эти отношения не существовали еще в *серии, в разуме* г. Прудона, *в логической последовательности*.

Употребляя политико-экономические категории для постройки здания идеологической системы, мы разъединим между собою различные члены системы общественной. Мы превращаем эти различные члены в отдельные, одно за другим следующие общества. В самом деле, каким образом простая логическая формула движения, последовательности во времени, могла бы служить для объяснения всего общественного тела, в котором все отношения существуют одновременно и опираются одно на другое?

### Четвертое замечание.

Посмотрим теперь, каким изменением подвергает г. Прудон гегелевскую диалектику, прилагая ее к политической экономии.

По его, г. Прудона, мнению, всякая экономическая категория имеет две стороны: хорошую и дурную. Он рассматривает категории, как мелкий буржуа рассматривает великих исторических деятелей: Наполеон великий человек; он сделал много добра, но он принес также много зла.

Взятые вместе, *хорошая сторона и дурная сторона, выгода и неудобство* составляют, по мнению г. Прудона, *противоречие*, свойственное каждой экономической категории.

Подлежащая решению задача: сохранить хорошую сторону и устранить дурную.

*Рабство* есть такая же экономическая категория, как и всякая другая. Следовательно, оно также имеет две стороны. Оставим дурную сторону рабства и поговорим о хорошей. Само собою разумеется, что при



этом речь идет лишь о настоящем рабстве, о рабстве чернокожих в Суринаме, в Бразилии, в южных штатах Северной Америки.

Подобно машинам, кредиту и проч. это рабство представляет собою краеугольный камень буржуазной промышленности. Без рабства не было бы хлопка; без хлопка немислима современная промышленность. Рабство дало значение колониям, колонии создали всемирную торговлю, всемирная торговля есть необходимое условие крупной промышленности. Следовательно, рабство представляет собою в высшей степени важную экономическую категорию.

Без рабства, Северная Америка, эта страна наибольшего прогресса, превратилась бы в патриархальную страну. Сотрите Северную Америку с карты земного шара, — и вы произведете анархию, полной упадок современной торговли и цивилизации. Уничтожьте рабство, — и вы сотрете Америку с географической карты<sup>1)</sup>.

Так как рабство есть экономическая категория, то оно всегда вошло в число учреждений различных народов. Новейшие народы сумели лишь замаскировать рабство в своей собственной стране, а в новом свете ввели его открытым образом.

Что предпримет г. Прудон для спасения рабства? Он предложит *задачу*: Сохранить хорошую сторону этой экономической категории и устранить дурную.

У Гегеля нет задач. Он знает лишь диалектику. Г. Прудон заимствовал из диалектики Гегеля только язык. Его собственный диалектический метод состоит лишь в догматическом отличении хорошего от дурного.

Примем на время самого г. Прудона за категорию. Исследуем его дурную и его хорошую сторону, его преимущества и его недостатки.

Если сравнительно с Гегелем он обладает тем преимуществом, что умеет ставить задачи, — которые и предоставляет себе решать для блага человечества — то он имеет также и недостаток, заключающийся в полной неспособности к диалектическому порождению какой-либо новой категории. Сосуществование двух взаимно-противоречащих сторон, их борьба и их слияние в одну новую категорию — составляет сущность диалектического движения. Если вы ограничиваетесь лишь тем, что ставите себе задачу устранения дурной стороны, то вы разом кладете конец всему

<sup>1)</sup> Для 1847 года это было совершенно справедливо. В то время сношения Соединенных Штатов с остальным миром ограничивались, главным образом, ввозом переселенцев и продуктов промышленности, и вывозом хлопка и табаку, т. е. продуктов рабского труда Юга. Северные штаты производили, главным образом, хлеб и мясо для рабовладельческих штатов. Отмена рабства стала возможна лишь с того времени, как Север начал производить хлеб и мясо для вывоза, и сделался промышленной страной, а хлопчатобумажная монополия Америки встретила сильную конкуренцию со стороны Индии, Египта и Бразилии. Да и тогда следствием этой отмены было разорение Юга, которому не удалось заменить открытого рабства негров замаскированным рабством индийских и китайских кули. Ф. Э.

диалектическому движению. Вы имеете дело уже не с категорией, которая ставит себя, и противопоставляется самой себе, в силу своей противоречивой природы; вы имеете дело лишь с г. Прудоном, который бьется, мучится и выбивается из сил между двумя сторонами категории.

Попавши, таким образом, в тупой переулочек, из которого трудно выбраться с помощью законных средств, г. Прудон делает отчаянное усилие, и одним скачком переносится в область новой категории. Тогда-то раскрывается пред его восхищенными очами *серия в разуме*.

Он схватывает первую попавшуюся категорию, и произвольно приписывает ей свойство устранять неудобства категории, подлежащей очищению. Так, налоги залечивают, если верить г. Прудону, неудобства монополии; торговый баланс устраняет неудобства палогов, поземельная собственность — неудобства кредита.

Перебирая, таким образом, все экономические категории одну за другой, и делая одну категорию *противоядием* по отношению к другой, г. Прудон сочиняет с помощью этой смеси противоречий и противоядий от противоречий — два тома противоречий, которые он справедливо называет «*Системой экономических противоречий*».

#### Пятое замечание.

«В абсолютном разуме все эти идеи... одинаково просты и всеобщы. В действительности мы приходим к науке лишь посредством искусственного расположения наших идей в особый *род здания*. Но, взятая сама по себе, истина не зависит от этих диалектических фигур и свободна от наших умственных комбинаций».

Таким образом, вдруг, посредством особого рода поворотного движения, секрет которого нам теперь известен, метафизика политической экономии превращается в иллюзию! Никогда еще г. Прудон не высказывал более справедливого мнения. Само собою понятно, что раз весь процесс диалектического движения сводится к простому приему противоположения добра злу, к постановке задач, смысл которых заключается в устранении зла, и в употреблении одной категории в качестве противоядия против другой, — то категории утрачивают свое самостоятельное значение; идея «не функционирует больше»; в ней уже нет внутренней жизни. Она уже не может ни ставить себя в виде категории, ни разлагаться на них. Последовательность категорий превращается в род искусственного здания. Диалектика уже не представляет собою движения абсолютного разума. Она совершенно исчезает, и на ее месте оказывается не более как мораль.

Когда г. Прудон говорил о *серии в разуме*, о *логической последовательности категорий*, он положительно заявил, что имеет в виду не ту историю, которая соответствует последовательности времен, причем под этим выражением он понимал историческую последовательность *проявления* категорий. Все совершалось тогда у него в *чистом эфире*

*разума*. Все должно было вытекать из этого эфира посредством диалектики. Теперь, когда дело идет о практическом применении этой диалектики, разум изменяет ему. Диалектика г. Прудона приходит в разлад с диалектикой Гегеля, и г. Прудон оказывается вынужденным признать, что порядок, в котором он излагает экономические категории, не соответствует тому порядку, в котором они порождают одна другую. Экономические эволюции не совпадают более с эволюциями чистого разума.

Что же однако дает нам г. Прудон? Действительную историю, то есть, — как понимает это разум г. Прудона, — последовательность, в которой категории *проявлялись* во времени? — Нет. Историю, как она совершается в идеи? Еще того менее. Значит, он не дает нам ни обыкновенной истории категорий, ни их священной истории! Но какую же историю дает он нам? Историю своих собственных противоречий. Посмотрим, как шествуют эти противоречия, и как они увлекают за собой г. Прудона.

Прежде чем приступить к этому исследованию, которое послужит поводом к шестому важному замечанию, мы должны сделать еще одно, менее важное, замечание.

Предположим вместе с г. Прудона, что действительная история, история, соответствующая порядку времен, представляет собою ту историческую последовательность, в которой проявлялись идеи, категории и принципы.

Каждый принцип имел особый век для своего проявления. Так, например, принципу власти соответствует одиннадцатый, принципу индивидуализма — осямнадцатый век. Рассуждая последовательно, мы должны согласиться, что век принадлежал принципу, а не принцип веку. Другими словами, принцип создавал историю, а не история создавала принцип. Но если, — чтобы спасти как принцип, так и историю, — мы спросим себя, наконец, почему же данный принцип проявился в XI или в XVIII, а не в каком-нибудь другом столетии, то мы будем вынуждены тщательно исследовать, каковы были люди в XI веке, каковы они были в XVIII, каковы были в каждом из этих столетий их нужды, их производительные силы, слобсы и сырые материалы их производства; каковы, наконец, были те отношения человека к человеку, которые вытекали из всех этих условий существования. Разве исследовать все эти вопросы не значит написать действительную, обыкновенную историю людей каждого столетия, изобразить этих людей, в одно и то же время, как авторов и актеров их собственной драмы? Но раз вы изображаете людей как актеров и авторов их собственной истории, вы приходите окольным путем к истинной точке исхода, потому что вы покидаете вечные принципы, от которых вы отпавлялись сначала.

Г. Прудон не подвинулся достаточно далеко даже на том окольном пути, по которому следует идеолог, чтобы выйти на большую дорогу истории.

## Шестое замечание.

Пройдемся с г. Прудоном по околицей дороге.

Мы допускаем, что экономические отношения, рассматриваемые как *неизменные законы*, как *вечные принципы*, как *идеальные категории*, предшествовали людям и их деятельности; мы допускаем, кроме того, что эти законы, эти принципы, эти категории от начала веков дремали в недрах «безличного разума человечества». Мы уже видели, что все эти неизменные, неподвижные вечности не оставляют места для истории; в самом лучшем случае мы имеем историю в идее, т. е. историю, отражающуюся в диалектическом движении чистого разума. Говори, что в диалектическом движении идеи уже не *дифференцируются*, г. Прудон уничтожает как всякую *тень движения*, так и всякое *движение теней*, с помощью которых можно было бы создать какое-нибудь подобие истории. Не заботясь об этом, он приписывает истории свое собственное бессилие, и обвиняет в нем всех и все, до французского языка включительно. «Говоря, что какая-нибудь вещь *происходит*, что какая-нибудь вещь *создается*, мы выражаемся не точно — сообщает нам г. Прудон-философ: в цивилизации, как и во вселенной, все существует и действует от века. *То же мы видим и во всей общественной экономике*» (Т. II, стр. 102).

Производительная сила противоречий *функционирующих* и заставляющих функционировать самого г. Прудона так велика, что, стремясь объяснить историю, он оказывается вынужденным отрицать ее; стремясь объяснить последовательное появление общественных отношений, он не допускает, чтобы какая-нибудь вещь могла *произойти*; желая объяснить производство и все его фазы, он не признает возможности *производства чего бы то ни было*.

Таким образом, для г. Прудона нет более ни истории, ни последовательности идей; а между тем продолжает существовать его книга, та самая книга, которая, по его собственному выражению, есть не что иное, как *история, «соответствующая» последовательности идей*. Г. Прудон — человек формулы, поэтому мы можем спросить себя, как была найдена та формула, которая помогла ему *одним скачком* перепрыгнуть через все эти противоречия?

Чтобы найти ее, он изобрел новый разум, равно отличный, как от абсолютного, чистого и девственного разума, так и от обыкновенного разума людей, действовавших в различные исторические эпохи; это — совершенно особенный разум, разум общества — лица, субъекта — *человечества*, разум который под пером г. Прудона иногда является также в виде «*общественного гения*» или в виде «*всеобщего разума*» или, наконец, в виде «*человеческого разума*». Однако этот, обремененный множеством имен, разум ежеминутно оказывается индивидуальным разумом г. Прудона, со всеми его хорошими и дурными сторонами, с его противоядиями и задачами.

«Человеческий разум не создает истины», таящейся в глубине абсолютного и вечного разума. Он может только открывать ее. Но открытия им до сих пор истины неполны, недостаточны и потому противоречивы. Экономические категории, представляющие собою истины, открытые и разоблаченные человеческим разумом, общественным гением, — также неполны и носят в себе зародыш противоречия. До г. Прудона, общественный гений видел лишь *враждебные друг другу элементы* и не находил *синтетической формулы*, хотя и формула и элементы одновременно таятся в абсолютном разуме. Так как экономические отношения являются лишь земным осуществлением этих недостаточных истин, этих неполных категорий, этих противоречивых понятий, то и они противоречивы по своей природе, и они представляют две стороны: хорошую и дурную.

Найти совершенную истину, полное понятие, разрешающую противоречие синтетическую формулу, — такова задача общественного гения. Вот почему этот общественный гений и был перегоняем, в воображении г. Прудона, от одной категории к другой, не будучи, однако, до сих пор, в состоянии, несмотря на целую батарею своих категорий, вырвать у Бога, у вечного разума, искомую синтетическую формулу.

«Сначала общество (общественный гений) устанавливает первый факт. выдвигает *гипотезу*. . . истинную ангиномию, противоположные результаты которой развиваются в общественной экономике таким же точно образом, как могли бы быть выведены в уме ее следствия. Так что, совершенно совпадая с дедукцией идей, промышленное развитие подразделяется на два направления: одно из них соответствует полезным, другое вредным действиям этого развития. . . Чтобы гармонически конституировать этот двойственный принцип, чтобы разрешить это противоречие, — общество заставляет его породить новое, *второе* противоречие, за которым вскоре следует третье и т. д.; так будет *шестовать общественный гений* до тех пор, пока, исчерпавши все свои противоречия, — я предполагаю, хотя это не доказано, что свойственные человечеству противоречия имеют конец — пока, исчерпавши все свои противоречия, он не возвратится одним скачком ко всем своим прежним положениям, и не разрешит всех своих задач *единой формулой*». (Т. I, стр. 135).

Как прежде ангиноза (противоположение) становилась *противоядием*, так теперь теза превращается в *гипотезу*. Но теперь нас уже не удивляет более эта совершаемая г. Прудона перемена терминов. Человеческий разум, который всего менее чист, так как обладает лишь ограниченным кругозором, на каждом шагу наталкивается на новые, требующие решения, задачи. Каждое новое положение, каждая новая теза, открывая им в абсолютном разуме, и представляющая собою отрицание первой тезы, становится для него синтезом и навивно принимается им за искомое решение задачи. Так выбивается из сил этот разум в вечно новых противоречиях, пока, приближаясь к концу этих противоречий, он не замечает, что все эти тезы и синтезы представляют собою не более как противоречивые гипотезы. В этом затруднении «человеческий разум, обще-

ственный гений, возвращается одним скачком ко всем своим прежним положениям, и разрешает все свои задачи единой формулой». Заметим мимоходом, что эта единая формула составляет истинное открытие г. Прудона. Она есть не что иное, как *«конституированная стоимость»*.

Гипотезы создаются лишь с какою-нибудь определенной целью. Цель, которую прежде ставит себе говорящий устами г. Прудона общественный разум, заключается в устранении всех дурных и в удержании всех хороших сторон каждой экономической категории. Для общественного разума — добро, высшее благо, истинная практическая цель сводится к *равенству*. Почему же общественный гений предпочитает равенство неравенству, или братству, или католицизму, или какому-либо другому принципу? Потому, что «человечество лишь потому и осуществляло одну за другою столько частных гипотез, что имело в виду одну высшую гипотезу», которая именно и есть равенство. Другими словами — потому что равенство есть идеал г. Прудона. Он воображает, что разделение труда, кредит, кооперация, словом все экономические отношения были изобретены лишь для того, чтобы послужить на пользу равенства, и однако они постоянно обращались, в конце концов, против этого последнего. Из того, что история на каждом шагу противоречит фикции г. Прудона, он заключает о существовании противоречия. Но если противоречие и существует, то лишь между его излюбленной идеей и действительным историческим движением.

Отныне хорошою стороною каждого экономического отношения называется та, которая ведет к равенству; дурною — та, которая отрицает его и ведет к неравенству. Всякая новая категория есть гипотеза общественного гения, имеющая целью устранение неравенства, порожденного предыдущей гипотезой. Словом, равенство есть *первоначальное намерение, мистическая тенденция, провиденциальная цель*, которую общественный гений никогда не теряет из виду, вращаясь в круге экономических противоречий. Поэтому *Провидение* есть локомотив, с помощью которого весь экономический багаж г. Прудона движется гораздо скорее, чем с помощью чистого эфирного разума. Наш автор посвятил Провидению целую главу, следующую за главою о налогах.

Провидение, провиденциальная цель — вот великое слово, которое употребляется ныне для объявления хода истории. В сущности это слово не объясняет ровно ничего. Это есть не более, как риторическая форма, один из многих приемов словесного выражения явлений.

Известно, что благодаря развитию английской промышленности возрасла стоимость поземельной собственности в Шотландии. Промышленность открыла новые рынки для сбыта шерсти. Чтобы производить шерсть в больших размерах, нужно было превратить пахотные поля в пастбища. Чтобы совершить это превращение, нужно было концентрировать собственность. Чтобы концентрировать собственность, нужно было уничтожить мелкие наследственные фермы, согнать тысячи фермеров с их родной земли и заменить их несколькими пастухами, пасущими миллионы овец. Общается, что шотландская поземельная собственность, путем своих

последовательных превращений, привела к вытеснению людей баранами. Поэтому, сказавши, что провиденциальной целью института шотландской поземельной собственности было изгнание людей баранами, вы сообщите нам отрывок из провиденциальной истории.

Конечно, стремление к равенству свойственно нашему веку. Но говорить, что все предшествовавшие столетия со всеми их, совершенно различными, нуждами, средствами производства и т. д. были провиденциально предназначены для осуществления равенства, говорить это — значит, во-первых, ставить людей и средства нашего века на место людей и средств предшествовавших столетий, а, кроме того, это значит игнорировать то историческое движение, посредством которого различные поколения преобразовывали результаты, добытые предшествовавшими им поколениями. Экономисты очень хорошо знают, что та же самая вещь, которая является окончательным продуктом труда одного лица, другому служит лишь сырым материалом для нового производства.

Предположите с г. Прудоном, что общественный гений произвел, или, лучше, импровизировал феодальных сеньеров, имея в виду провиденциальную цель превращения *крепостных крестьян в ответственных и разных между собою работников* — и вы сделаете произвольную постановку целей и лиц, вполне достойную того самого Провидения, которое создало шотландскую поземельную собственность, чтобы доставить себе случай позлорадствовать при изгнании людей баранами.

Но так как г. Прудон относится к Провидению со столь важным участием, то мы отсылаем его к *«Истории политической экономии»* г. Вильнева-Баржемона, который также стремится к провиденциальной цели. Но его целью является уже не равенство, а — католицизм.

### Замечание седьмое и последнее.

Экономисты употребляют очень странный прием в своих рассуждениях. Для них существует только два рода учреждений; одни — естественные, другие — искусственные. Феодальные учреждения — искусственны, буржуазные — естественны. В этом случае экономисты похожи на теологов, которые также имеют два сорта религий. Всякая чужая религия есть, по их мнению, дело людей, между тем как их собственная религия есть эманация Бога. Говоря, что существующие отношения — т. е. отношения буржуазного производства — естественны, экономисты хотят этим сказать, что при этих отношениях производство богатства и развитие производительных сил совершаются сообразно законам природы. Поэтому и сами названные отношения оказываются естественными законами, независимыми от влияния времени. Общество всегда находится под влиянием этих вечных законов. Таким образом, прежде была история, но теперь ее уже нет. История была — потому что были феодальные учреждения, и потому что в этих феодальных учреждениях мы находим такие отношения производства, которые совершенно непохожи на буржуазные, выдаваемые экономистами за естественные и потому вечные.

Феодализм также имеет своих пролетариев: крепостных, заключавших в себе все зародыши буржуазии. Феодалское производство, в свою очередь, заключало в себе два непримиримых элемента, которые называют также *хорошей и дурной стороной* феодализма, не замечая при этом, что, в конце концов, дурная сторона всегда берет верх над хорошей. Именно дурная сторона, обуславливая собою борьбу, создает историческое движение. Если бы в эпоху господства феодализма экономисты, очарованные рыцарскими добродетелями, гармонией между нравом и обязанностями, патриархальной жизнью городов, процветанием домашней промышленности в деревнях, развитием производства, организованного в корпорации, гильдии и цехи, словом, если бы они очарованные всем тем, что составляет хорошую сторону феодализма, поставили себе задачу устранить оборотную сторону медали — рабство, привилегии, анархию — то к чему когда бы привести их усилия? Все обуславливавшие борьбу элементы были бы уничтожены, развитие буржуазии было бы прервано в самом зародыше. Экономисты поставили бы себе нелепую задачу устранить историю.

Когда взяла верх буржуазия, то уже не было более речи ни о хорошей, ни о дурной стороне феодализма. Буржуазия ветушила в обладание производительными силами, развитыми ею при господстве феодализма. Но вместе с тем были разбиты все старые экономические формы, все соответствовавшие им гражданские отношения, равно как и политический порядок, служивший официальным выражением старого общества.

Таким образом, чтобы правильно судить о феодалском производстве, нужно рассматривать его, как способ производства, основанный на антагонизме. Нужно показать, как создавалось богатство в этой, основанной на антагонизме, среде, как параллельно с развитием борьбы классов, развивались производительные силы, как один из этих классов, — представлявший собою дурную неудобную сторону общества — постепенно рос до тех пор, пока не созрели, наконец, материальные условия его освобождения. Но, поступая таким образом, не признаете ли вы, что способы производства, равно как и те отношения, при которых совершается развитие производительных сил, вовсе не составляют вечных законов, а соответствуют известному развитию людей и их производительных сил; не признаете ли вы также, что всякое изменение в области принадлежащих людям производительных сил необходимо ведет за собою изменение в отношениях производства? Так как необходимо прежде всего сохранить добытые производительные силы, — эти плоды цивилизации, — то приходится разбить традиционные формы, в которых они были произведены. Вслед за этим моментом, прежний революционный класс становится — консервативным.

С самого своего начала буржуазия стоит в тесном отношении к пролетариату, который, в свою очередь, есть остаток пролетариата феодалских времен. В течение своего исторического развития буржуазия необходимо развивает свойственный ей характер антагонизма, который первоначально очень неясен и существует лишь в скрытом состоянии.



По мере развития буржуазии, в недрах ее развивается новый пролетариат, пролетариат нового времени; между пролетариатом и буржуазией завязывается борьба, которая прежде чем быть почувствованной, замеченной, оцененной, понятой, признанной и громко провозглашенной обеими сторонами, проявляется лишь в прехолящих фактах, лишь в единичных разрушительных столкновениях. С другой стороны, если все члены современной буржуазии имеют один и тот же интерес, поскольку они образуют особый класс, противостоящий другому классу, то в их собственных взаимных отношениях интересы их враждебны и противоположны. Эта противоположность интересов вытекает из экономических условий их буржуазной жизни. Таким образом, с каждым днем становится все более и более очевидно, что характер тех отношений производства, в пределах которых совершается движение буржуазии, отличается двойственностью, а вовсе не единообразием и простотой; что при тех же самых отношениях, при которых производится богатство, производится также и нищета; что при тех же самых отношениях, при которых совершается развитие производительных сил, развивается также и упадокнетелия; что эти отношения создают *буржуазное богатство*, т. е. богатство буржуазного класса, лишь при условии постоянного уничтожения богатства отдельных членов этого класса, и образование постоянно растущего пролетариата.

Чем более обнаруживается этот характер антагонизма, тем более приходят в разлад с своей собственной теорией научные представители буржуазного производства, — экономисты; образуются различные школы.

Есть экономисты *фаталисты*, которые так же индифферентны в своей теории к тому, что они называют неудобствами буржуазного производства, как сами буржуа нечувствительны на практике к страданиям пролетариев, с помощью которых они приобретают свои богатства. Эта фаталистическая школа имеет своих классиков и своих романтиков. Классики — как, например, Адам Смит и Рикардо — являются представителями того периода развития буржуазии, когда она, находясь еще в борьбе с остатками феодального общества, стремилась лишь очистить экономические отношения от этих феодальных пятен, развить производительные силы, придать новый размах промышленности и торговле. Принимающий участие в этой борьбе и поглощенный этой лихорадочной деятельностью, пролетариат знает в этом периоде только преходящие, случайные бедствия, и сам смотрит на них как на таковые. Задача экономистов, в роде Адама Смита и Рикардо, являющихся историками этой эпохи, состоит лишь в том, чтобы уяснить, каким образом приобретает богатство при отношениях буржуазного производства, возвести эти отношения в законы и категории, и показать, насколько эти законы и категории удобнее для производства богатств, чем законы и категории феодального общества. В их глазах нищета является лишь болезнью, сопровождающею всякое рождение, как в природе, так и в промышленности.

Романтики принадлежат нашей эпохе, тому времени, когда буржуазия

стала в прямую противоположность с пролетариатом, когда нищета порождается в таком же огромном избытке как и богатство. Тогда экономисты разыгрывают из себя разочарованных фаталистов, с высоты своего величия бросающих презрительный взгляд на те машины в человеческом образе, трудом которых создается богатство. Они подражают всем приемам своих предшественников, но индифферентизм, бывший у тех навьюстостью, у этих становится кокетством.

За тем является *гуманитарная школа*, принимающая к сердцу дурную сторону нынешних отношений производства. Для успокоения своей совести, она старается по возможности сгладить существующие контрасты; она искренно оплакивает бедствия пролетариев и ожесточенную конкуренцию между буржуа; она советует рабочим быть умеренными, хорошо работать и родить поменьше детей. Она предлагает буржуазии внести умеренность в ее производительное рвение. Вся теория этой школы состоит в бесконечных различиях между теорией и практикой, между принципом и его последствиями, между идеей и ее приложением, между содержанием и формой, между сущностью и действительностью, между правом и фактом, между хорошей и дурной стороной.

Филантропическая школа есть усовершенствованная гуманитарная школа. Она отрицает необходимость антагонизма; она хочет всех людей превратить в буржуа, она хочет осуществить теорию, поскольку эта теория отличается от практики, и не содержит в себе антагонизма. Само собою разумеется, что нетрудно отвлекаться в теории от противоречий, встречаемых в действительности на каждом шагу. Подобная теория представляет собою лишь идеализированную действительность. Таким образом, филантропы хотят сохранить категории, выражающие собою буржуазные отношения, и устранить тот антагонизм, который неотделим от этих категорий, так как составляет их сущность. Филантропам кажется, что они серьезно борются против буржуазной практики, между тем как сами они буржуазны более, чем кто бы то ни было.

Так же точно как экономисты служат научными представителями буржуазного класса, — социалисты и коммунисты являются теоретиками пролетариата. Пока пролетариат не настолько еще развит, чтобы слезаться в особый класс, пока самая борьба пролетариата с буржуазией не имеет еще, следовательно, политического характера, и пока производительные силы еще не до такой степени развились в недрах буржуазии, чтобы дать возможность найти материальные условия, необходимые для освобождения пролетариата и для образования нового общества, — до тех пор эти теоретики оказываются утопистами, которые — чтобы помочь нуждам угнетенного класса — придумывают системы и стремятся найти обновляющую науку. Но по мере того, как подвигается вперед история, а вместе с тем и яснее обнаруживается борьба пролетариата, — для них становится излишним это искание науки в своих собственных головах; им нужно только отдать себе отчет в том, что совершается на их глазах, и стать выразителями действительных событий. Поскольку они ищут науки и придумывают системы, поскольку они переживают лишь

начало борьбы, они видят в нищете только пищу, не замечая ее революционной разрушительной стороны, той стороны, которая низвергнет старое общество. Но раз замечена эта сторона, наука становится сознательным продуктом исторического движения; она перестает быть доктринерской, она делается революционной!

Возвратимся к г. Прудону.

Каждое экономическое отношение имеет свою хорошую и свою дурную сторону — это единственный пункт, на котором г. Прудон не прибывает самого себя жесточайшим образом. Хорошая сторона выставляется, по его мнению, экономистами; дурная — обличается социалистами. У экономистов он заимствует понятие о необходимости вечных экономических отношений; у социалистов ту иллюзию, в силу которой они видят в зле только зло. Он соглашается и с теми и с другими, причем старается опереться на авторитет науки. Наука же сводится в его представлении к ничтожным размерам научной формулы; он является именно охотником за формулами. Сообразно с этим, г. Прудон льстит себя уверенностью, что сумеет дать критику как политической экономии, так и коммунизма; — на самом же деле он стоит ниже их обоих. Ниже экономистов — потому, что он, как философ, обладающий магической формулой, считает себя избавленным от необходимости вдаваться в чисто экономические подробности; ниже социалистов — потому, что у него не хватает ни мужества, ни проницательности для того, чтобы подняться выше буржуазного горизонта, хотя бы только в области умозрений...

Он хочет быть синтезом и остается не более, как сложной ошибкой.

Он хочет, как муж науки, парить над буржуа и пролетариями, будучи лишь мелким буржуа, которого обстоятельства постоянно бросают из стороны в сторону между трудом и капиталом, между политической экономией и коммунизмом.

## § 2. Разделение труда и машины.

Разделением труда открывается, по мнению г. Прудона, серия экономических эволюций.

*Хорошая сторона  
разделения труда.*

В сущности, разделение труда есть способ осуществления равенства положений и умственных способностей (т. I, ст. 93).

*Дурная сторона  
разделения труда.*

Разделение труда сделалось для нас источником бедствий (т. I, ст. 99).

*Вариант*

«Труд, разделяясь сообразно свойственному ему закону, составляющему важнейшее условие его плодотворности, приходит, в конце концов, к отрицанию своей цели и сам себя уничтожает» (т. I, ст. 94).

*Задача.*

«Найти новое сочетание, которое устранило бы вредные стороны разделения, сохранив при этом его полезное действие» (т. I, ст. 94).

Разделение труда есть, по мнению г. Прудона, вечный закон, простая и абстрактная категория. Он должен, следовательно, найти в абстракции, в идее, в слове достаточное объяснение разделения труда в различные эпохи истории. Касты, цехи, мануфактура и крупная промышленность должны быть объяснены одним словом: *разделение*. Изучите хорошенько смысл «разделения», и вам не понадобится уже исследовать те многочисленные влияния, которые в каждую эпоху дают разделению труда его определенный характер.

Конечно, сводить исторические явления к категориям г. Прудона значит слишком уже упрощать их. Ход истории не так категоричен. Целых три столетия понадобилось Германии для того, чтобы установить первое крупное разделение труда: отделить город от деревни. Но мере того, как видоизменялось одно только это отношение города к деревне, видоизменялось и все общество. Обращая внимание лишь на одну упомянутую сторону разделения труда, мы находим, с одной стороны, древние республики, с другой — христианский феодализм; там — старую Англию, с ее землевладельцами-баронами, здесь — современную Англию, с ее хлопчато-бумажными баронами (cotton lords). В XIV и XV столетиях, когда не было никаких колоний, когда Америка еще не существовала для Европы, а с Азией сношения велись лишь через Константинополь, когда Средиземное море было центром торговой деятельности, — в то время разделение труда имело совсем иной вид и характер, чем в XVII стол., когда Испания, Португалия, Голландия, Англия и Франция приобрели колонии во всех частях света. Величина рышка и его особая физиономия придают разделению труда, в различные эпохи, такие характерные черты, такие особенности, вывести которые из одного слова «делить», из идеи, из категории «разделения труда», было бы слишком затруднительно.

«Все экономисты, начиная с Адама Смита, говорит г. Прудон, указывали на *выгодные* и *вредные* стороны закона разделения, но они придавали гораздо большее значение первым, как более соответствующим их оптимизму; при этом ни один из экономистов не задал себе вопроса, что такое в сущности вред, вытекающий из того или другого закона... Каким образом один и тот же принцип, строго проведенный во всех своих последствиях, приводит к диаметрально противоположным результатам? Ни один экономист ни до, ни после Адама Смита даже не заметил здесь задачи, требующей разрешения. Сэй доходит лишь до признания, что в разделении труда та же причина, которая производит добро, порождает также и зло» (т., ст. 95, 96).

Адам Смит был дальновиднее, чем думает г. Прудон. Он прекрасно видел, что в действительности различие природных способностей между индивидуумами гораздо менее значительно, чем нам кажется. Эти столь несходные способности, свойственные, повидимому, людям, запятаны в раз-

личных профессиях и достигшим зрелого возраста, составляют не столько *причину*, сколько *следствие* разделения труда. Первоначальное различие между носильщиком и философом менее значительно, чем между цепной и борзой собакой. Пропасть между ними вырыта разделением труда. Все это не мешает г. Прудону утверждать в другом месте, что Адам Смит не имел ни малейшего понятия о вредном действии разделения труда и что Ж. Б. Сэй *первый* признал, «что в разделении труда та же причина, которая производит добро, порождает также и зло».

Но послушаем, что говорит Лемонтэй: *Suum cuique*.

«Г. Ж. Б. Сэй сделал мне честь, внося в свое прекрасное сочинение по политической экономии принцип, *выясненный мною* в отрывке о нравственном влиянии разделения труда. Несколько легкомысленное заглавие моей книге было, без сомнения, причиной, помешавшей ему сослаться на меня. Только этим я и могу объяснить молчание писателя слишком богатого собственными заслугами, чтобы не признать такого маленького заимствования.» (Lemontey, *Oeuvres complètes*, t. I, p. 245, Paris 1840).

Отгадким должное Лемонтэю: он с большим умом изобразил вредные следствия разделения труда в том виде, в каком оно существует в настоящее время, так что г. Прудон не нашел ничего к этому прибавить. Но раз уже, по вине г. Прудона, мы заговорили об этом вопросе первенства, то скажем мимоходом, что задолго до Лемонтэя, и за 17 лет до Адама Смита, ученика А. Фергюсона, последний ясно изложил этот предмет в главе, специально посвященной разделению труда.

«Можно бы даже усумниться, увеличиваются ли общие способности нации пропорционально прогрессу ее техники. Во многих механических искусствах... цель вполне достигается без всякого участия ума и чувства, и невежество является матерью промышленности так же, как и суеверия. Размышление и воображение подвержены ошибкам, по привычное движение руки или ноги не зависит ни от того, ни от другого. Таким образом, можно бы сказать, что по отношению к мануфактуре наивысшее совершенство заключается в том, чтобы совершенно отделаться от всякого участия духа, так что мастерскую можно рассматривать, как машину, составленную из людей. Генерал может отличаться большим искусством в военном деле, тогда как вся задача солдата сводится к выполнению некоторых движений рук и ног. Первый выиграл быть может то, что потерял последний... В том периоде, когда все разделяется, само мышление может превратиться в отдельное ремесло.» (А. Фергюсон, *Essai sur l'histoire de la société civile*, Paris 1783).

В заключение нашего литературного обзора, мы положительно отрицаем, будто «*все экономисты придавали гораздо большее значение выгодным, чем вредным сторонам разделения труда*». Достаточно назвать Сисмонди.

Итак, что касается до *выгодных* сторон разделения труда, то г. Прудону оставалось только перефразировать более или менее напыщенным слогом общие, всем известные фразы.

Посмотрим теперь, каким образом из разделения труда, рассматри-

ваемого как общий закон, как категория, как идея, выводятся связанные с ним вредные следствия. Каким образом эта категория, этот закон приводит к неравному распределению труда, во вред уравнительной системе г. Прудона?

«В этот торжественный час разделения труда бурный ветер начинает носиться над человечеством. Прогресс совершается не для всех равным и одинаковым образом... Он начинается с того, что овладевает небольшим числом привилегированных. Это-то лицепрятие прогресса по отношению к личностям и заставляло так долго верить в естественное, провиденциальное неравенство положений, породило касты и создало иерархический строй всех обществ». (Прудон, т. I, ст. 94).

Разделение труда создало касты, а так как касты составляют вредное следствие разделения труда, то отсюда ясно, что разделение труда создало вредные вещи. *Quod erat demonstrandum*. Если мы захотим пойти дальше, и спросим, что привело разделение труда к созданию каст, иерархического строя и привилегий, то г. Прудон ответит нам, что привел к этому прогресс. А что вызвало прогресс? Ограничение. Ограничением г. Прудон называет лицепрятие прогресса по отношению к личностям.

За философией следует история. Теперь уже не описательная и не диалектическая история, а — сравнительная. Г. Прудон проводит параллель между современным и средневековым типографским рабочим, между рабочим гигантских плавильных заводов Крёзо и деревенским кузнецом, между писателем в наше время и средневековым писателем; он заставляет чашку весов склоняться на сторону тех, которые в большей или меньшей степени служат представителями разделения труда, существовавшего в средние века или доставшегося нам от них по наследству. Он противопоставляет разделение труда одной исторической эпохи разделению труда другой эпохи. Это ли должен был сделать г. Прудон? Нет. Он должен был показать нам вредные стороны разделения труда вообще, разделения труда, как категории. Зачем, однако, останавливаться на этой части произведения г. Прудона, когда, как мы увидим дальше, он сам формально отрицает все относящиеся сюда так называемые исследования.

«Первым следствием «раздробленного труда», продолжает г. Прудон, «после *увечья души*, является удлинение рабочего дня, который растет обратно пропорционально количеству затраченных умственных сил... Но так как длина рабочего дня не может превышать шестнадцати — осьмнадцати часов, то с того момента, когда становится невозможным увеличение количества расходуемого времени, начинается уменьшение цены и падает заработная плата. Несомненно одно, и только это одно нам и необходимо здесь отметить: *общая совесть* признает, что труд мастера не может быть поставлен на одну доску с трудом *чернорабочего*. *Смодбвательно*, понижение цены рабочего дня необходимо, и таким образом рабочих, душа которого была изувечена привнжающим его родом труда, неизбежно должен понести и физические лишения от уменьшения вознаграждения» (т. I, ст. 97, 98).

Мы не будем останавливаться на логическом достоинстве этих силлогизмов, которые Кант назвал бы паралогизмами, уклоняющимися в сторону.

Вот их сущность:

Разделение труда сводит деятельность рабочего к принижавшей его функции; этой принижавшей функции соответствует изувеченная душа: а изувеченно души соответствует постоянно усиливающееся падение заработной платы. И чтобы доказать, что уменьшенная заработная плата действительно приличествует изувеченной душе, г. Прудон, для успокоения своей совести, утверждает, что такова воля совести всеобщей. Интересно знать, входит ли душа г. Прудона в число составных частей этой всеобщей совести?

*Машины* являются у г. Прудона «логической противоположностью разделения труда»; для укрепления этой диалектики, он немедленно превращает машины в мастерские.

Предположивши современную мастерскую (фабрику), чтобы из разделения труда вывести нищету, г. Прудон предполагает, затем, созданный разделением труда нищету, чтобы прийти к фабрике и иметь возможность представить ее в качестве диалектического отрицания этой нищеты. Снабдивши рабочего, — в нравственном отношении, *принижавшими функциями*, в физическом — недостаточной заработной платой; поставивши его в *зависимость от мастера*, приравнявши его труд труду чернорабочего, г. Прудон снова обращается к фабрикам и машинам, чтобы еще *принизить* рабочего, «давши ему господина», и довершает его падение, заставляя его «спуститься из положения ремесленника к положению *чернорабочего*». Прекрасная диалектика! И если бы он хоть на этом остановился. Но нет, ему требуется еще новая история разделения труда, на этот раз уж не для извлечения из нее противоречий, а для того, чтобы перестроить фабрику на свой лад. Для достижения этой цели, он вынужден забыть все, только что сказанное им о разделении труда.

Труд организуется и разделяется различно, смотря по орудиям, которыми он располагается. Ручная мельница предполагает иное разделение труда, чем паровая. Начать с разделения труда вообще, чтобы дойти до специального орудия производства, до машины, это значит просто стучаться лбом в историю.

Машины так же мало составляют экономическую категорию, как и быки, которые тащут плуг. Это производительные силы — не более. Современная же фабрика, основанная на употреблении машин, есть общественное отношение производства, экономическая категория.

Посмотрим теперь, как происходит дело в блестящем воображении г. Прудона.

«В обществе постоянное введение новых и новых машин является антитезой, обратной формулой труда: это *протест* промышленного гения против *раздробленного* и *человекоубийственного* труда. Что такое, в самом деле, машина? *Это особый род соединения различных частей труда*, разбедненных его разделением. Каждую машину можно рассмат-

ривать, как соединение различных операций... Следовательно, посредством машины совершается *восстановление рабочего*. Машины, являющиеся в политической экономии противоположностью разделению труда, представляют собою синтез, который в человеческом уме противоположен анализу... Разделение лишь разъединяло различные части труда, предоставляя каждому предаваться той специальности, к которой он чувствовал наибольшую склонность, фабрика группирует рабочих сообразно отношению частей к целому... она вводит в область труда принцип власти... Но это еще не все: *машина* или *фабрика*, после того как она унизила рабочего, давши ему господина, доканчивает его падение, заставляя спуститься из положения ремесленника к состоянию чернорабочего... Период машин, нами теперь переживаемый, отличается одной характерной особенностью, а именно *наемным трудом*. Наемный труд появился *позже* разделения труда и обмена.

Сделаем г. Прудону одно простое замечание. Разъединение различных частей труда, предоставляющее каждому возможность отдаваться той специальности, к которой он чувствует наибольшую склонность, это разъединение, начало которого г. Прудон относит к первым дням мироздания, существует только в современной промышленности, при господстве конкуренции.

Далее г. Прудон дает нам чрезвычайно «интересную генеалогию», показывающую, каким образом фабрика произошла из разделения труда, а наемный труд из фабрики.

1) Он предполагает человека, который «заметил, что, разделяя производство и его различные части и предоставляя исполнение каждой из этих частей отдельному рабочему», мы увеличиваем производительные силы.

2) Следя за пенью своей идеи, этот человек говорит себе, что, образовавши постоянную группу рабочих, подобранных для *предположенной* им специальной цели, он достигнет более постоянного производства и т. д.

3) Этот человек делает другим людям *предложение*, с целью заставить их усвоить его идею и последовать за ее пенью.

4) При начале промышленности этот человек уславливается как *равный с равными* со своими *товарищами*, которые становятся потом его *рабочими*.

5) «Понятно, конечно, что это первоначальное равенство должно было быстро исчезнуть, в виду выгодного положения хозяина и зависимости наемного рабочего».

Таков новый образчик *описательного и исторического метода* г. Прудона.

Рассмотрим теперь с исторической и экономической точки зрения, действительно ли *принцип власти* введен в общество фабрикою и машиной позже принципа разделения труда; был ли при этом рабочий, с одной стороны, восстановлен, а с другой — подчинен власти; предста-



влет ли, наконец, машина воссоединение разделенного труда его *синтез*, противоположный его *анализу*?

Общество, как целое, имеет с внутренним устройством фабрики ту общую черту, что и в нем тоже существует свое разделение труда. Если мы возьмем за образец разделение труда на современной фабрике, чтобы применить его затем к целому обществу, то мы найдем, что, наилучшим образом организованное для производства богатств общество должно бы иметь лишь одного главного предпринимателя, распределяющего различным членам их работу, по заранее составленным правилам. Но в действительности мы видим не то. Тогда как внутри современной фабрики разделение труда подробно определяется властью предпринимателя, современное общество, для распределения своего труда, не имеет никаких правил, никакой власти, кроме свободной конкуренции.

В патриархальный период, при существовании каст, при феодальном и корпоративном строе, разделение труда в целом обществе совершалось по определенным правилам. Были ли эти правила установлены волею законодателя? Нет. Вытекли первоначально из условий материального производства, они были возведены в законы лишь гораздо позже. Именно таким образом эти различные формы разделения труда и легли в основу различных общественных организаций. Что же касается до разделения труда внутри мастерской, то его развитие, при всех упомянутых общественных формах, было очень незначительно.

Можно даже принять за общее правило, что, чем менее власть участвует в разделении труда внутри общества, тем сильнее развивается это разделение внутри мастерской и тем сильнее подчиняется она власти одного лица. Таким образом, по отношению к разделению труда, власть в мастерской и власть в обществе *обратно пропорциональны* друг другу.

Посмотрим теперь, что представляет собою мастерская, в которой занятия резко разделены, где задача каждого рабочего сводится к очень простой операции и где власть, капитал, группирует и направляет работы. Как произошла эта мастерская-фабрика? Чтобы ответить на поставленный вопрос, нам следовало бы рассмотреть, как развивалась собственно мануфактурная промышленность. Я говорю о той промышленности, которая не превратилась еще в современную промышленность, с ее машинами, но не представляет уже ни средневекового ремесла, ни домашней промышленности. Мы не будем входить в большие подробности, а наметим только несколько главнейших пунктов, из которых будет видно, что не формулами создается история.

Необходимейшим условием образования мануфактурной промышленности было накопление капиталов, облегченное открытием Америки и ввозом ее драгоценных металлов.

Достаточно доказано, что следствием увеличения средств обмена было, с одной стороны, обесценение заработной платы и поземельной ренты, а с другой, возрастание промышленной прибыли. Иными словами: классы поземельных собственников и рабочих, феодальные сеньеры и на-

род, пали именно настолько, насколько поднялся класс капиталистов буржуазия.

Были и другие обстоятельства, одновременно содействовавшие развитию мануфактурной промышленности: увеличение количества находящихся в обращении товаров, последовавшее за открытием торговых сношений с восточной Индией, морским путем, вокруг мыса Доброй Надежды; затем колониальная система и развитие морской торговли.

Другим условием, еще мало оцененным в истории мануфактурной промышленности, было распушение многочисленной свиты феодальных сеньеров, второстепенные члены которой превратились в бродяг, прежде чем поступить в мастерския. Созданию — перешедшей потом в фабрику — мастерской предшествует в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях почти всеобщее бродяжничество. Мастерская нашла, кроме того, могущественную поддержку в большом числе крестьян, которые в продолжение целых столетий приливали в города, так как превращение полей в луга и успехи земледелия, уменьшившие количество необходимых для обработки земли рук, постоянно гнали их из деревень.

Расширение рынка, накопление капиталов, перемены в социальном положении классов, целая масса людей, лишенных своих прежних источников дохода, — вот исторические условия образования мануфактуры. Не полюбовные сделки между равными, как думает г. Прудон, собрали людей в мастерския. Мануфактура зародилась даже не в недрах старых корпораций. Во главе новой мастерской стал купец, а не старый цеховой мастер. Почти всюду между мануфактурой и ремеслом велась ожесточенная борьба.

Накопление и концентрация орудий производства и рабочих предшествовали развитию разделения труда внутри мастерской. Отличительным свойством мануфактуры было скорее соединение многих рабочих в одном месте, в одном здании, под командой одного капитала, чем разложение труда на его составные части и приспособление отдельных рабочих к очень простым специальностям.

Полезность мастерской заключалась не столько в разделении труда, в собственном смысле слова, сколько в том обстоятельстве, что производство велось здесь в больших размерах, сберегалось много лишних расходов и пр. В конце шестнадцатого и в начале семнадцатого века голландская мануфактура была еще едва знакома с разделением труда.

Развитие разделения труда предполагает предварительное соединение рабочих в одной мастерской. Ни в шестнадцатом, ни в семнадцатом столетиях, мы не встречаем ни одного примера такого значительного разделения различных отраслей одного и того же ремесла, при котором достаточно было бы соединить их в одном месте, чтобы получилась готовая мастерская-фабрика. Но раз люди и орудия производства соединялись в одном месте; разделение труда, в том виде, в каком оно существовало в корпорациях, непременно отражалось и воспроизводилось внутри мастерской.

Для г. Прудона, который, если и видит вещи, то видит их на

выворот, разделение труда, в смысле Адама Смита, является на свет раньше мастерской, между тем как ею-то, и обуславливается его существование.

*Машины*, в собственном смысле слова, появляются лишь в конце осьнадцатого столетия. Нет ничего чуждее, как видеть в них *антитезу* разделения труда, *синтез* восстанавливающий единство раздробленного труда.

Машина есть соединение орудий труда, а вовсе не комбинация работ для самого рабочего. «Когда каждая отдельная операция приведена к разделению труда к употреблению одного простого инструмента, тогда соединение этих инструментов, приводимых в действие одним двигателем, образует машину». (Babbage, *Traité sur l'Économie des machines, etc.*, Paris 1833). Простые орудия, собрания простых орудий, сложные орудия, приведенные в действие сложного орудия одним двигателем — руками человека, приведенные этих инструментов в действие силами природы, машина, система машин, имеющая автоматического двигателя, — вот ход развития машин.

Концентрация орудий производства и разделение труда так же неотделимы одно от другого, как в области политики неразлучны концентрация общественной власти и разделение частных интересов. Англия, при своей концентрации земель, этих орудий земледельческого труда, имеет также разделение земледельческого труда и применяет машины к обработке земли. Франция же — где орудие земледельческого труда, земля, раздроблена на мелкие участки — не имеет, говоря вообще, ни разделения земледельческого труда, ни приложения машин к земледелию.

По мнению г. Прудона, концентрация орудий труда есть отрицание разделения труда. В действительности мы опять-таки видим противное. По мере концентрации орудий развивается также разделение труда и *vice versa*. Вот почему за каждым крупным механическим изобретением следует усиление разделения труда, а также усиление этого разделения ведет, в свою очередь, к новым изобретениям в механике.

Нам не нужно напоминать, что великие успехи в разделении труда начались в Англии после изобретения машин. Так, ткачи и прядильщики были, по большей части, такими же крестьянами, каких мы и до сих пор встречаем в отсталых странах. Изобретение машин dokonчило отделение мануфактурной промышленности от земледельческой. Ткач и прядильщик, соединенные прежде в одной семье, были разделены машиной. Благодаря этой последней, прядильщик может теперь жить в Англии, в то время как ткач находится в восточной Индии. До изобретения машин промышленность каждой страны направлялась, главным образом, на обработку сырых материалов, производимых ее собственной почвой. Так, Англия обрабатывала шерсть, Германия — лен, Франция — шелк и лен, Восточная Индия и Левант — хлопок и т. д. Благодаря применению машин и пара, разделение труда приняло такие размеры, что крупная промышленность, оторванная от национальной почвы, зависит уже единственно от всемирного рынка, от международного обмена и международ-

ного разделения труда. Наконец, машина имеет такое влияние на разделение труда, что как только в производстве какого-нибудь предмета является возможность частного применения механики, фабрикация тотчас же разделяется на две независимые одна от другой отрасли.

Пужно ли говорить о *провиденциальной* и филантропической цели, открытой г. Прудоном в первоначальном изобретении и введении машин?

Когда английская торговля приняла такие размеры, что ручной труд не мог уже удовлетворять существующему на рынках спросу, почувствовалась потребность в машинах. Тогда стали думать о приложении механических знаний, уже вполне развившихся в восемнадцатом веке.

Первые действия мастерской, производившей при помощи машин, были как-челвзя менее филантропичны. Кнутом удерживали там детей за работой; дети сделались предметом барышничества, и о доставке их заключали контракты с сиротскими домами. Все законы относительно ремесленного обучения рабочих были отменены, так как, употребляя выражение г. Прудона, не было уже более надобности в *синтетических* рабочих. Наконец, начиная с 1825 г., почти все новые изобретения были результатом столкновений между рабочим и предпринимателем, который всеми силами старался обесценить труд работника-специалиста. После каждой сколько-нибудь значительной стачки появляется новая машина. Рабочий же не видел в машине своей реабилитации, или своей *реставрации*, как говорит г. Прудон, но в восемнадцатом веке долго боролся с зарождающимся господством автоматической силы.

«Уайлт (Wyalt), говорят доктор Юр, гораздо ранее Аркрайта изобрел прядильные пальцы (ряд снабженных желобками валиков)... Но главная трудность заключалась не столько в изобретении автоматического механизма... Она состояла, главным образом, в недостатке дисциплины, которая заставляла бы людей отказаться при работе от их неправильных привычек, заставляла бы их отождествить себя с неизменной правильностью движения большой машины. Изобретение и проведение на практике кодекса мануфактурной дисциплины, приуроченного к потребностям и скорости механической системы, — было задачей, достойной Геркулеса. И эту-то благородную задачу выполнил Аркрайт».

Итак, благодаря введению машин усилилось разделение труда внутри общества, упростилась задача рабочего внутри мастерской, увеличилась концентрация капитала и уродование человека.

Когда у г. Прудона является желание быть экономистом и покинуть на минуту «развитие серии идей в разуме», он черпает свою эрудицию у А. Смита, писавшего в то время, когда механическая мастерская только зарождалась. Разница между разделением труда, существовавшим во времена А. Смита, и тем, какое мы видим в современной фабрике, действительно громадна. Для полного ее понимания достаточно бы ст процитировать некоторые места из «*Philosophie des manufactures*» доктора Юр.

«Когда А. Смит писал свое бессмертное творение об основах политической экономии, система машинной промышленности едва была из-

вестна. Разделение труда справедливо казалось ему великим принципом совершенствования мануфактуры. На примере производства булавок он показал, что рабочий, совершенствуясь от упражнения в одной и той же частности, производит и быстрее и дешевле. Он видел, что, сообразно этому принципу, в каждой отрасли мануфактуры выполнение некоторых операций, — в роде разрезывания медной проволоки на равные части, — значительно облегчается; другие же операции, — как, например, обдывание и прикрепление булавочных головок, — остаются сравнительно трудными; из этого он заключил, что будет совершенно естественно приспособить к каждой из этих операций рабочего, плата которого будет соответствовать его искусству. Это *приспособление* и составляет сущность разделения труда. Но то, что могло служить хорошим примером во времена доктора Смита, в настоящее время может лишь ввести публику в заблуждение относительно истинного принципа фабричной промышленности. В самом деле, распределение или, вернее, приспособление работ к различным индивидуальным способностям, вовсе не входит в план действий машинной промышленности; напротив, в каждом процессе, требующем большой ловкости и точности, рука искусного, но часто склонного к разным неправильностям рабочего заменяется особым механизмом, автоматическая работа которого так правильна, что даже ребенок может надзирать за нею.

«Принцип автоматической системы заключается, следовательно, в вытеснении ручного труда машинным и в замене разделения труда между ремесленниками разложением процесса на его составные части. При системе ручного труда заработная плата составляла, обыкновенно, наиболее дорогой элемент каждого продукта, но при автоматической системе труд искусных ремесленников постепенно вытесняется простым трудом надзора за машинами.

«Такова уже слабость человеческой природы, что чем искуснее рабочий, тем он всевольнее и несговорчивее, и тем менее он пригоден. Поэтому, для механической системы, общий ход которой может значительно пострадать от его капризных выходок. Главная задача современного мануфактуриста заключается, следовательно, в том, чтобы, сочетая свои капиталы с наукой, свести всю задачу рабочих к употреблению в дело одного лишь проворства и бдительности, — качеств, которые быстро совершенствуются в молодости, *если бываюи направлены на один и тот же предмет.*

При старой системе градаций труда требуется многолетнее обучение, прежде чем глаза и руки рабочего достигнут искусства, необходимого для выполнения некоторых, особенно трудных механических операций; но при системе, разлагающей производство на его составные части, которые исполняются автоматической машиной, эти части можно поручить рабочему, одаренному самыми посредственными способностями, подвергнувши его лишь небольшому испытанию; в крайних случаях можно даже переводить его от одной машины к другой, по воле директора заведения. Такие перемещения находятся в явном противоречии

со старой рутинной, которая, разделяя труд, одному рабочему предоставляла выделывать головки булавок, другому оттачивать концы, — скучные занятия, односторонне, которых отупляло рабочих... Но по причине *уравнения*, т.е. при автоматической системе, способности рабочего подвергаются лишь приятному упражнению и проч... Так как его занятие ограничивается надзором за правильно действующим механизмом, то он может изучить его в очень короткое время; когда же он перенесит свои услуги от одной машины к другой, — в его работу вносится разнообразие, которое расширяет его кругозор размышлением об общих комбинациях, вытекающих из его труда и труда его товарищей. Поэтому, при обычных обстоятельствах, система *равного распределения работ* не может вести к тому подавлению способностей, сужению кругозора и остановке в телесном развитии рабочего, которые, и не без причины, приписывались разделению труда.

«В действительности, постоянной целью и стремлением каждого механического усовершенствования является полное устранение нужды в человеческом труде или понижение его цены, путем замены мужского труда женским и детским, труда искусных ремесленников — трудом простых поденщиков... Это стремление: вместо опытных рабочих употреблять только детей с ясными глазами и гибкими пальцами, доказывает, что схоластический догмат разделения труда по различным степеням искусства отброшен, наконец, нашими просвещенными промышленниками» (André Ure, Philosophie des manufactures ou Economie industrielle, t. 1, гл. 1).

Разделение труда внутри современного общества характеризуется тем, что оно порождает специальности, специалистов, а с тем вместе и свойственный им идиотизм.

«Мы приходим в величайшее удивление, говорит Лемонтэй, видя, что у древних одно и то же лицо являлось часто одновременно замечательным философом, поэтом, оратором, священником, администратором и полководцем. Нас ужасает такое обширное поприще. Каждый отгораживает себе известное пространство и запирается в нем. Я не знаю, увеличивается ли через это раздробление общее поле деятельности, но человек несомненно мельчает».

Разделение труда на фабрике, работающей с помощью машин, характеризуется тем, что труд совершенно теряет здесь характер специальности. Но как только прекращается всякое специальное развитие, является потребность в универсальности, чувствуется стремление индивидуума ко всестороннему развитию. Автоматическая фабрика стирает специальности и свойственный им идиотизм.

Г. Прудон, не понявши даже этой, единственной революционной стороны автоматической фабрики, делает шаг назад, и предлагает рабочему не ограничиваться одною двенадцатой частью булавки, а делать поочередно все двенадцать частей. Таким образом, рабочий достиг бы полного и всестороннего понимания булавки. Вот в чем заключается «синтетический труд» г. Прудона. Без сомнения, шаг вперед и шаг назад вместе составляют тоже синтетическое движение.

В конце концов, г. Прудон не пошел дальше идеала мелкого буржуа. И для осуществления этого идеала он не придумал ничего лучшего, как возвратить нас к состоянию средневекового подмастерья, или, самое большее, средневекового мастера. Достаточно сделать в своей жизни лишь одно образцовое произведение, один лишь раз почувствовать себя человеком, говорит он в другом месте своей книги. Не есть ли это — и по форме и по существу — то самое образцовое произведение, которое требовалось средневековыми цехами?

### § III. Конкуренция и монополия.

Хорошая сторона конкуренции.	{	«Конкуренция имеет для труда такое же существенное значение, как и разделение... Она необходима для наступления равенства».
Дурная сторона конкуренции.	{	«Ее принцип отрицает самого себя. Неизбежнейшим ее следствием является гибель тех, кого она увлекает».
Общее соображение.	{	«Как вредные следствия конкуренции, так равно и доставляемые ею выгоды... логически вытекают из ее принципа».
Задача.	{	«Найти примиряющий принцип, который должен исходить из закона, стоящего выше самой свободы». <i>Вариант.</i> «Речь идет, следовательно, вовсе не об уничтожении конкуренции, что так же невозможно, как и уничтожение свободы; все дело в том, чтобы найти равновесие, я бы охотно сказал даже: найти <i>плотную</i> конкуренцию».

Г. Прудон начинает с защиты вечной необходимости конкуренции против людей, желающих заменить ее *срезноганием*<sup>1)</sup>.

«Бесцельного соревнования» не существует. «Предмет каждой страсти всегда аналогичен самой страсти. Женщина является предметом страсти для влюбленного, власть — для честолюбца, золото — для скупца, лавровый венок — для поэта; точно так же и предметом промышленного соревнования неизбежно является *прибыль*. Соревнование есть не что иное, как сама конкуренция».

Конкуренция есть соревнование ради прибыли. Необходимо ли, чтобы промышленное соревнование всегда являлось соревнованием ради

<sup>1)</sup> Т.-е. против фурийеров.

прибыли, т.-е. конкурсной? Г. Прудон доказывает это простым утверждением. Мы уже видели, что утверждать, по его мнению, значит доказывать, так же точно, как предполагать значит отрицать.

Если непосредственным предметом страсти для влюбленного является женщина, то непосредственным предметом промышленного соревнования будет продукт, а не прибыль.

Конкуренция есть торговое, а не промышленное соревнование. В наше время промышленное соревнование существует лишь в виду торговых целей. Бывают даже такие фазы в экономической жизни современных народов, когда всех охватывает особого рода горячка погони за прибылью без производства. Эта периодически возвращающаяся горячка спекуляции обнаруживает истинный характер конкуренции, которая старается избежать необходимости промышленного соревнования.

Если бы вы сказали ремесленнику четырнадцатого столетия, что привилегии и вся феодальная организация будут уничтожены и заменены промышленным соревнованием, называемым конкуренцией, он ответил бы вам, что привилегии различных корпораций, цехов и гильдий составляют организованную конкуренцию. То же говорит и г. Прудон, утверждая, что «соревнование есть не что иное, как сама конкуренция».

«Издайте распоряжение, в силу которого с 1-го января 1847 года всем и каждому гарантировались бы труд и заработная плата; тотчас же горячее напряжение промышленности сменится сильнейшим застоєм».

Вместо предположения, утверждения и отрицания мы имеем теперь распоряжение, издаваемое г. Прудонем с парочитой целью доказать необходимость конкуренции, ее вечность как категории и проч.

Если мы вообразим, что для уничтожения конкуренции нужны только распоряжения, то мы никогда из нее не выйдем. Доходить же до предложения уничтожить конкуренцию, сохраняя заработную плату, значит предлагать учредить посредством королевского декрета полнейшую бессмыслицу. Но народы развиваются не по королевским декретам. Прежде, чем прибегать к таким декретам, народы должны изменить сверху до низу все условия своего промышленного и политического существования, а следовательно и весь свой образ жизни.

Г. Прудон ответит нам со своей неизменной самоуверенностью, что это — гипотеза «изменения человеческой природы, независимо от условий исторического прошлого», и что он имел бы право «устранить нас от спора», не зная уже в силу какого распоряжения.

Г. Прудон не знает, что вся история есть не что иное, как непрерывное изменение человеческой природы.

«Будем держаться фактов. Французская революция была сделана столько же ради промышленной свободы, сколько и ради политической; и хотя Франция 1789 года не предвидела всех следствий того принципа, осуществления которого требовала, она — скажем это во всеулышание — не обманулась, однако, ни в своих желаниях, ни в ожиданиях. Кто попробует отрицать это, тот потеряет в жонх глазах всякое право на кри-



тику: я никогда не стану спорить с противником, который в принципе допускает произвольную ошибку двадцати пяти миллионов людей.... Если бы конкуренция не была принципом общественной экономики, декретом судьбы, потребностью человеческой души, то было бы странно, почему, вместо уничтожения корпораций, цехов и гильдий, не предпочли подумать об их исправлении.

Отсюда следует, что так как французы восемнадцатого столетия уничтожили корпорации, цехи и гильдии, вместо того, чтобы видоизменить их, то французы девятнадцатого столетия должны видоизменить конкуренцию, вместо того чтобы уничтожить ее. Так как конкуренция установилась во Франции восемнадцатого столетия в силу исторических потребностей, то уничтожение ее ради новых исторических потребностей невозможно во Франции девятнадцатого столетия. Не понимая, что установление конкуренции было тесно связано с действительным развитием людей восемнадцатого столетия, г. Прудон делает из нее потребность *человеческой души* in partibus infidelium. Как определил бы он значение «великого Кольбера» для семнадцатого столетия?

После революции наступает современный нам порядок вещей. Г. Прудон и здесь находит факты, подтверждающие вечную необходимость конкуренции, доказывая, что все те отрасли промышленности, где, как, например, в земледелии, эта категория недостаточно развита, находятся в состоянии упадка и отсталости.

Указание на то, что некоторые отрасли промышленности не развились еще до конкуренции, а другие не достигли еще уровня буржуазного производства, — есть простая болтовня, несколько не доказывающая вечности конкуренции.

Вся логика г. Прудона резюмируется следующим образом: конкуренция есть общественное отношение, в котором развиваются в настоящее время наши производительные силы. Этой истине он дает не логическое развитие, а лишь очень напыщенные формы, говоря, что конкуренция есть промышленное соревнование, современными способом быть свободным, ответственность в труде, конституирование стоимости, условие наступления равенства, принцип общественной экономики, декрет судьбы, потребность человеческой души, понятие вечной справедливости, свобода в разделении, разделение в свободе, экономическая категория.

«Конкуренция и ассоциация опираются друг на друга. Они не только не исключают одна другую, но даже не расходятся между собою. Конкуренция необходимо предполагает общую цель. Следовательно, конкуренция не есть эгоизм, и самое печальное заблуждение социализма заключается в том мнении, что конкуренция разрушает общество».

Конкуренция предполагает общую цель, а это, с одной стороны, доказывает, что конкуренция есть ассоциация, а с другой — что конкуренция не есть эгоизм. А разве эгоизм не предполагает также общей цели? Всякий эгоизм действует в обществе и посредством общества. Он предполагает, следовательно, общество, т.-е. общие цели, общие потребности, общие средства производства и проч. и проч. Уж не поэтому ли

конкуренция и ассоциация, о которой говорят социалисты, даже не расходятся между собою?

Социалисты прекрасно знают, что современное общество основано на конкуренции. Каким же образом могли бы они упрекать конкуренцию в разрушении современного общества, которое они сами хотят разрушить? С другой стороны, как могли бы они обвинять конкуренцию в разрушении будущего общества, в котором они видят, наоборот, уничтожение самой конкуренции?

Г. Прудон говорит далее, что конкуренция есть *противоположность монополии* и что, следовательно, она не может быть *противоположна ассоциации*.

Феодализм был с самого начала своего существования противоположен патриархальной монархии; но он не был противоположен конкуренции, еще не существовавшей в то время. Следует ли из этого, что конкуренция не противоположна феодализму?

*Обществом, ассоциацией* можно назвать всякое общество как феодальное, так и буржуазное, которое есть ассоциация, основанная на конкуренции. Каким же образом могут явиться социалисты, намеревающиеся уничтожить конкуренцию одним словом: *ассоциация*? И как это сам г. Прудон может думать, что, называя конкуренцию просто *ассоциацией*, он тем самым защищает ее от социалистов?

Все, только что сказанное нами, относится к хорошей стороне конкуренции, в том виде, как понимает ее г. Прудон. Перейдем теперь к дурной, т.-е. к отрицательной, стороне конкуренции, к ее вредным следствиям, к ее разрушительным, превратным, злым свойствам.

Картина, нарисованная для нас г. Прудоном, заключает в себе нечто крайне мрачное.

Конкуренция порождает нищету, она раздувает гражданскую войну, «изменяет естественные условия земных поясов», пережестивает национальности, вносит смуту в семью, развращает общественную совесть, «извращает понятие о правосудии, о справедливости», о нравственности, и, что хуже всего, она разрушает честную и свободную торговлю, не давая взамен этого даже *синтетической стоимости*, постоянной честной цены. Конкуренция разочаровывает всех, не исключая самих экономистов. Она доходит до самоуничтожения.

После всего худого, сказанного г. Прудоном о конкуренции, не представляется ли она самым разлагающим, самым разрушительным элементом для его принципов и иллюзий, а также для отношений буржуазного общества?

Заметим, что влияние конкуренции на буржуазные отношения становится все более и более разрушительным, по мере того, как она вызывает лихорадочное стремление к созданию новых производительных сил, т.-е. материальных условий нового общества. В этом отношении, дурная сторона конкуренции могла бы представить и нечто хорошее.

«С точки зрения ее происхождения, конкуренция, как положение

или экономическая фаза, есть необходимое следствие... теории сокращения издержек производства».

Вероятно, г. Прудон думает, что кровообращение есть результат теории Гарвея.

«*Монополия* есть неизбежное завершение конкуренции, которая порождает ее непрерывным самоотрицанием. В этом происхождении монополии заключается уже ее оправдание... Монополия составляет естественную противоположность конкуренции... но если конкуренция необходима, то она заключает уже в себе идею монополии, потому что каждая конкурирующая личность как бы возседает на монополию».

Мы радуемся вместе с Прудоном, что ему посчастливилось хоть однажды удачно применить свою формулу тезы и антитезы. Всем известно, что современная монополия порождается самою же конкуренцией.

Что же касается содержания, то г. Прудон придерживается поэтических образов. Конкуренция делала «из каждого подразделения труда как бы независимое государство, в котором всякий индивидуум проявлял свою силу и независимость». На монополии «восседает каждая конкурирующая личность». Один оборот стоит другого.

Г. Прудон говорит только о современной монополии, порожденной конкуренцией. Но всем известно, что конкуренция была порождена феодальной монополией. Следовательно, первоначально конкуренция была противоположностью монополии, а не монополия противоположностью конкуренции. Поэтому, современная монополия не есть простая антитеза, а является, наоборот, настоящим синтезом.

*Теза:* Феодальная монополия, предшествовавшая конкуренции.

*Антитеза:* Конкуренция.

*Синтез:* Современная монополия, которая представляет собою отрицание феодальной монополии, преодолагая господство конкуренции, и в то же время, будучи монополией, отрицает конкуренцию.

Таким образом, современная, буржуазная, монополия есть монополия синтетическая, отрицание отрицания и единство противоположностей. Она есть монополия в чистом, нормальном, рациональном виде. Г. Прудон становится в противоречие со своей собственной философией, принимая буржуазную монополию за монополию в ее первобытном, *простом*, противоречивом, спазматическом состоянии. Г. Росси, которого г. Прудон несколько раз цитирует по вопросу о монополии, повидимому, лучше понял синтетический характер буржуазной монополии. В своем *Cours d'économie politique* он делает различие между искусственной и естественной монополией. Феодальные монополии, говорит он, были искусственны, т.-е. произвольны; буржуазные же монополии естественны, т.-е. рациональны.

Монополия — хорошая вещь, рассуждает г. Прудон, потому что она представляет экономическую категорию, эманацию «безличного разума человечества». Конкуренция тоже прекрасная вещь, потому что она, в свою очередь, является экономической категорией. Но что некрасиво, так это способ осуществления как монополии, так и конкуренции. А еще хуже то, что монополия и конкуренция пожирают друг друга.

Что делать? Стараться найти синтез этих двух вечных идей, вырвать его из недр Божества, где он хранится с незапамятных времен.

В практической жизни мы находим не только конкуренцию, монополию и их антагонизм, но также и их синтез, который есть не формула, а движение. Монополия производит конкуренцию, конкуренция производит монополию. Монополисты конкурируют между собою, конкурирующие становятся монополистами. Если монополисты ограничивают взаимную конкуренцию посредством частных ассоциаций, то усиливается конкуренция между рабочими; и чем более растет масса пролетариев по отношению к монополистам отдельной нации, тем разнuzданнее становится конкуренция между монополистами различных наций. Синтез заключается в том, что монополия может держаться лишь посредством беспрерывной борьбы конкуренции.

Чтобы диалектически вывести *налоги*, которые следуют за *монополией*, г. Прудон говорит вам об *общественном чине*, который, *идя по своему пути смелыми зигзагами*, и, верным шагом, *без раскаяния и останова*, дойдя *до угла монополии*, бросает *меланхолический* взгляд назад и, но глубоким размышлении, *облагает* налогами все предметы производства, создает целую административную организацию для того, чтобы *все должности были отданы пролетариям и оплачивались монополистами*.

Что сказать об этом генге, прогулывающемся, натошак, зигзагами? И что сказать о самой прегулке, не имеющей иной цели, как раздавить буржуа налогами, тогда как налоги служат именно средством сохранения за буржуазией положения господствующего класса?

Чтобы дать читателю некоторое понятие о способе обращения г. Прудова с частными экономическими вопросами, достаточно сказать, что по его мнению, *налог на потребление* был установлен в видах равенства, с целью оказать помощь пролетариям.

Налог на потребление достиг полного развития лишь с победой буржуазии. В руках промышленного капитала — т.-е. презвого и экономного богатства, которое сохраняется, воспроизводится и увеличивается путем непосредственной эксплуатации труда, — налог на потребление служит средством эксплуатации легкомысленного, веселого и расточительного богатства крупных дворян, занимавшихся одним лишь потреблением. Джэкс Стюарт, в своем сочинении *Inquiry into the principles of political economy*, опубликованном за десять лет до появления книги Адама Смита, прекрасно изложил эту первоначальную цель налога на потребление.

«В неграбиченных монархиях, говорит он, государи относятся как бы с некоторого рода зависти к росту богатств, и поэтому собирают налоги с тех, кто богатеет, — облагают производством. При конституционных же правительствах, налоги падают главным образом на тех, кто беднеет, — облагается потребление. Так, монархи налагают подать на промышленность. Поголовная подать, например, и налог на имущество (*taille*) пропорциональны предполагаемому богатству плательщиков. Каждый платит соразмерно той прибыли, которую, по предположению, может

получить. При конституционных правительствах налоги взимаются обыкновенно с потребления. Каждый платит соразмерно своим расходам».

Что же касается до *логической последовательности* появления — в разуме г. Прудона — налогов, торгового баланса и кредита, то мы заметим только, что английская буржуазия, достигши при Вильгельме Оранском, политического господства и получивши возможность свободно развивать условия своего существования, сразу создала новую систему налогов, общественный кредит и систему покровительственных пошлин.

Этого указания совершенно достаточно, чтобы дать читателю верное понятие о глубокомысленных исследованиях г. Прудона по вопросам о полиции или о налогах, о торговом балансе, кредите, коммунизме и народонаселении. Мы ручаемся, что ни один критик, как бы ни был он снисходителен, не будет в состоянии серьезно рассматривать относящиеся сюда главы.

#### § IV. Собственность или рента.

В каждую историческую эпоху собственность развивалась различно и при совершенно различном складе общественных отношений. Поэтому определить буржуазную собственность — значит сделать не что иное, как описание всех общественных отношений буржуазного производства.

Стремиться определить собственность, как независимое отношение, как особую категорию, как абстрактную и вечную идею — значит впасть в метафизическую или юридическую иллюзию.

Хотя г. Прудон и делает вид, будто говорит о собственности вообще, но он рассуждает лишь о *поземельной собственности* и о *поземельной ренте*.

«Происхождение ренты, так же как и собственности, лежит, так сказать, за пределами экономики: оно коренится в психологических и нравственных соображениях, стоящих лишь в очень отдаленной связи с производством богатств». (Т. II, ст. 265).

Таким образом, г. Прудон признает свою неспособность найти экономическое объяснение возникновения ренты и собственности. Он сознается, что эта неспособность принуждает его прибегать к соображениям психологического и морального свойства, которые, находясь действительно лишь в очень отдаленной связи с производством богатств, тесно связаны, однако, с узкостью его исторического кругозора. Г. Прудон утверждает, что в происхождении собственности есть нечто *мистическое* и *таинственное*. Но приписывать происхождению собственности таинственность, т.-е. превращать в тайну отношение самого производства к распределению средств производства, — не значит ли это, говоря языком г. Прудона, отказываться от всяких притязаний на экономическую науку?

Г. Прудон *ограничивается* напоминанием, что в седьмую эпоху экономической эволюции, — в эпоху *кредита*, — когда действительность

была вытеснена фикцией и человеческой деятельности грозила опасность потеряться в пустоте, явилась необходимость *крепче привязать человека к природе*, и рента была ценою этого нового контракта». (Т. II, ст. 265).

«Человек с сорока эку» предчувствовал, очевидно, появление г. Прудона: «Воля ваша, господин создатель: каждый хозяин в своем мире, но вы никогда не уверите меня, чтобы мир, в котором мы живем, был из стекла». В вашем мире, где кредит был средством *потеряться в пустоте*, быть может, и явилась необходимость в поземельной собственности для *прикрепления человека к природе*. Но в мире действительного производства, где поземельная собственность всегда предшествует кредиту, немыслим и *hogor vasci* г. Прудона.

Каково бы ни было происхождение ренты, но раз она существует, то становится предметом сделки между фермером и поземельным собственником. Каков же конечный результат этой сделки, или, другими словами, какова средняя величина ренты? Вот что говорит г. Прудон:

«Теория Рикардо отвечает на этот вопрос. В начале общественной жизни, когда человек, новичок на земле, имел в своем распоряжении огромные леса, когда земли было много, а промышленность только зарождалась, рента должна была равняться нулю. Еще невозделанная тогда земля была полезностью, а не меновой стоимостью, она была общей, но не общественной. Мало-по-малу, вследствие размножения семейств и прогресса земледелия, земля начала приобретать цену. Труд сообщал почве свою стоимость, и отсюда родилась рента. Каждое поле тем более ценилось, чем более плодов приносило оно при равном количестве труда; при этом собственники всегда стремились присвоить себе все количество приносимых землей продуктов, за исключением заработной платы фермера, т.-е. за исключением издержек производства. Таким образом, собственность следует за трудом, чтобы отнимать у него все то количество продуктов, которое превосходит действительные издержки производства. Так как собственник исполняет мистическую обязанность, и по отношению к колону является представителем общества, то в предначертаниях Провидения фермер есть не более, как ответственный работник, обязанный давать обществу отчет во всем, собранном им сверх следуемой ему по праву заработной платы... По существу своему и назначению, рента является, следовательно, орудием распределяющей справедливости, одним из многих средств, употребляемых экономическим гением для достижения равенства. Это огромный кадастр, совершаемый с противоположных сторон собственниками и фермерами, без возможности столкновения и ради высшей цели. Конечным результатом такого кадастра должно быть уравнивание владения землею между земледельцами и промышленниками... Нужна была вся магическая сила собственности, чтобы вырвать у земледельца излишек продукта, на который он не мог не смотреть как на лично ему принадлежащий, считая себя единственным его творцом. Рента, или, лучше сказать, поземельная собственность, сокрушила земледельческий эгоизм и породила солидарность, которой не могла бы создать никакая сила, ника-

кой передел земель... В настоящее время, когда моральный результат собственности достигнут, остается произвести распределение ренты».

Весь этот набор громких слов сводится к следующему: Рикардо говорит, что мерило ренты дается излишком цены сельскохозяйственных продуктов над издержками производства, включая в эти издержки обычную прибыль и процент на капитал. Г. Прудон поступает лучше: он заставляет вмешаться в дело собственника, являющегося как *Deus ex machina*, чтобы вырвать у колона весь излишек его продукта над издержками производства. Он пользуется вмешательством собственника, чтобы объяснить собственность, и вмешательством рентьера, чтобы объяснить ренту. Он отвечает на вопрос, повторяя его и прибавляя к нему лишний слог.

Заметим еще, что, определяя поземельную ренту различием в плодородии почвы, г. Прудон приписывает ей новое происхождение, так как прежде, чем стали ценить землю по различной степени ее плодородия, она «не имела», по мнению г. Прудона, «меновой стоимости, но была общей». А куда же девалась фикция ренты, порожденной *необходимостью* вернуть *к земле* человека, который готов был *потеряться в бесконечной пустоте*?

Освободим теперь учение Рикардо от всех провиденциальных, аллегорических и мистических фраз, в которые так старательно облек его г. Прудон.

Рента, в смысле Рикардо, есть поземельная собственность в буржуазном состоянии: т.-е. феодальная собственность, подчиненная условиям буржуазного производства.

Мы видели, что, по учению Рикардо, цена всех предметов определяется, в последнем счете, издержками производства, включая сюда промышленную прибыль; другими словами, она определяется количеством потраченного труда. В мануфактурной промышленности цена продукта, произведенного наименьшим количеством труда, определяет цену всех остальных товаров того же рода, если только количество наиболее дешевых и наиболее производительных средств производства может быть увеличиваемо до бесконечности, а свободная конкуренция объединяет цены, т.-е. создаст одну общую цену для всех продуктов одного и того же рода.

В сельскохозяйственной же промышленности цена всех продуктов одного и того же рода определяется, наоборот, ценою продукта, произведенного наибольшим количеством труда. Во-первых, здесь нельзя, как в мануфактурной промышленности, увеличивать по произволу количество орудий производства одинаковой степени производительности, т.-е. земель одинаковой степени плодородия. Затем, постепенный рост народонаселения приводит здесь к обработке земель пязкого качества или ко вкладам в прежние участки новых капиталов, являющихся менее производительными по сравнению с прежде вложенными. В том и в другом случае тратится большее количество труда для приобретения сравнительно меньшего количества продукта. Так как необходимость в этом излишке труда создана потребностями населения, то продукт земли, потребовавшей более

дорогой обработки, непременно находит точно такой же сбыт, как и продукт почвы, обработка которой обходится дешевле. А так как конкуренция уравнивает рыночные цены, то продукты плодородной почвы будут продаваться так же дорого, как и продукты почвы низкого достоинства. Этот-то излишек в цене продуктов, собранных с земли лучшего качества, над издержками их производства и составляет ренту. Если бы всегда имелись под руками земли одинакового плодородия; если бы земледельце было в одних условиях с мануфактурной промышленностью, где всегда есть возможность прибегнуть к менее стоящим и более производительным машинам, или если бы последующие вклады капитала в землю приносили столько же, как и первые, то цена земледельческих продуктов определялась бы ценою части их, произведенной при помощи наилучших орудий производства, как мы это видели относительно цены мануфактурных продуктов. Но тогда исчезла бы и рента.

Для общей верности теории Рикардо необходимо, чтобы капиталы могли свободно прилагаться к различным отраслям промышленности; чтобы сильно развитая конкуренция между капиталистами привела прибыль к одному урою; чтобы фермер превратился в обыкновенного промышленного капиталиста, требующего на свой капитал, раз он вкладывает его в землю низкого качества, прибыли, равной той, которую мог бы выручить во всякой другой отрасли промышленности; чтобы обработка земли велась по системе крупной промышленности; чтобы, наконец, сам землевладелец не искал ничего, кроме денежного дохода.

В Ирландии еще не существует ренты, хотя фермерство достигло там крайнего развития. Являясь избытком не над заработной платой только, но и над промышленной прибылью, рента не может существовать в стране, подобной Ирландии, где доход землевладельца берется из заработной платы. Следовательно, рента не только не превращает фермера в *простого рабочего* и не «вырывает у колона избытка продукта, на который он не может не смотреть как на свой собственный», но ставит, наоборот, перед землевладельцем, вместо раба, вместо крепостного, оброчного или наемного рабочего, — промышленного капиталиста, извлекающего из земли доход посредством труда наемных рабочих и отдающего землевладельцу, в виде арендной платы, лишь излишек над издержками производства, включая в них и прибыль на капитал. Значит, рента вырывает часть дохода у землевладельца. Прошло много времени, прежде чем феодальный фермер был вытеснен промышленным капиталистом. В Германии такое превращение началось лишь с последней трети восемнадцатого столетия, и лишь в Англии эти отношения между промышленным капиталистом и поземельным собственником достигли полного развития.

Пока существовали лишь *колоны* г. Прудона, — ренты не было. Но раз существует рента, — колоном является уже не фермер, а рабочий становится колоном фермера. Приближение земледельца до роли простого рабочего, поденщика, наемника, работающего на промышленного капиталиста; вмешательство промышленного капиталиста, эксплуатирующего землю на таких же основаниях, как любую фабрику; превращение поземель-



ного собственника из мелкого владетельного припца в простого ростовщика: вот различные отношения, выражаемые рентой.

Рента, в смысле Рикардо, есть превращение патриархального земледелия в промышленное, приложение промышленного капитала к земле, перенесение городской буржуазии в деревню. Вместо того, чтобы *привязать человека к природе*, рента только связала земледелие с конкуренцией. Раз будучи установлена в виде ренты, поземельная собственность сама является уже *результатом конкуренции*, так как с этих пор она становится в зависимость от рыночной цены земледельческих продуктов. В качестве ренты, поземельная собственность мобилизуется и становится предметом торговли. Рента возможна лишь с того момента, когда развитие промышленности и созданная им общественная организация вынуждают землевладельца стремиться к одной лишь торговой прибыли, к одному только денежному доходу от своих земледельческих продуктов, и не позволяют ему видеть в своей поземельной собственности ничего кроме машины, кующей ему деньги. Рента до такой степени отделила землевладельца от почвы, от природы, что он может даже вовсе не знать своих поместий, как это случается в Англии. Что же касается до фермера, до промышленного капиталиста и земледельческого рабочего, то они не более привязаны к земле, из которой извлекают доход, чем привязан мануфактурный предприниматель или рабочий к тому хлопку или к той шерсти, которую они обрабатывают; привязанность они чувствуют лишь к цене продуктов, к денежному доходу. Отсюда все иеремиады реакционных партий, всей душой призывающих возврат к феодализму, к доброй патриархальной жизни, к простым нравам и великим добродетелям наших предков. Подчинение почвы законам, управляющим другими отраслями промышленности, служит и всегда останется предметом корыстных сожалений. Рента была, можно сказать, той движущей силой, которая увлекла идиллию на путь исторического движения.

Рикардо, предположивши буржуазное производство, как необходимое условие существования ренты, переносит, тем не менее, понятие о ренте на поземельную собственность всех времен и народов. Это общее заблуждение всех экономистов, которым условия буржуазного производства представляются в виде вечных категорий.

От провиденциальной цели ренты — превращения *колона* в *ответственного работника*, — г. Прудон переходит к распределению ренты по принципу равенства.

Рента образуется, как мы видели, *равенством цен* продуктов, собранных с участков земли *неравного плодородия*, так что гектолитр хлеба, стоивший 10 франков, продается за 20 франк., если издержки производства на земле низшего качества поднимаются до этой суммы.

Пока необходимость принуждает потребителей покупать все земледельческие продукты, привезенные на рынок, их рыночная цена определяется наиболее дорогими издержками производства. Следовательно, 10 франков ренты, достаемые собственнику лучшей земли с каждого проданного его

фермером гектолитра, созданы именно этим уравнением цен, вытекающим из конкуренции, а вовсе не различием в плодородии и почве.

Предположим на-время, что цена хлеба определяется количеством труда, необходимого на его производство, тогда гектолитр хлеба, собранный с земли лучшего качества, будет продаваться по 10 фр., между тем как такой же гектолитр, собранный с земли худшего качества, будет стоить 20 франков. Допустивши это, мы увидим, что средняя рыночная цена будет 15 фр., тогда как по закону конкуренции она достигает 20 фр. Если бы средняя цена равнялась 15 фр., то не могло бы быть ни уравнительного, ни иного распределения ренты, так как не было бы самой ренты. Рента потому только и существует, что гектолитр хлеба, стоющий производителю 10 фр., продается за 20 фр. Г. Прудон предполагает равенство рыночных цен, при неравных издержках производства, для того, чтобы прийти к равному распределению продукта неравенства.

Мы понимаем, почему экономисты, как Милль, Шэрибюле, Гильдич и другие, требовали присвоения ренты государством и употребления ее для замены налогов. Это было лишь открытое выражение ненависти промышленного капиталиста к поземельному собственнику, являющемуся в его глазах излишним и бесполезным в общем ходе буржуазного производства.

Но брать по 20 фр. за гектолитр хлеба, чтобы завлечь затем распределением лишних 10 фр., взятых с потребителя, — этого действительно совершенно достаточно, чтобы заставить *общественного гения* пойти *меланхолически, зигзагами* и разбить себе голову о первый попавшийся *угол*.

Рента становится под пером г. Прудона «громадным *кадастром*, выполняемым с противоположных сторон собственниками и фермерами... ради высшей цели... в виду конченного результата, состоящего в уравнении владения землею между земледельцами и промышленниками».

Только в условиях современного общества тот или иной, создаваемый рентой, кадастр может иметь какую-нибудь практическую цену.

Но мы уже доказали, что средняя плата, передаваемая фермером землевладельцу, является более или менее точным выражением ренты лишь в странах, наиболее развитых в промышленном и товарном отношениях. Да и тут в арендную плату включается процент на капитал, вложенный в землю ее собственником. Положение земельных участков, соседство городов, и многие другие обстоятельства влияют также на арендную плату и видоизменяют ренту. Одних этих оснований было бы достаточно, чтобы доказать неточность основанного на ренте кадастра.

С другой стороны, рента не может служить и постоянным указателем степени плодородия данного участка земли, так как современное приложение химии беспрестанно меняет природу почвы, а геологические знания начинают именно в настоящее время разрушать всю старую оценку сравнительного плодородия. Лишь около двадцати лет тому назад началась разработка обширных земель в восточных графствах Англии, остававшихся до тех пор необработанными, вследствие незнания отношения между чернотомом и составом подпочвы.

Таким образом, история не только не дает нам в ренте готового кадастра, но постоянно изменяет и ниспровергает все существующие кадастры.

Наконец, плодородие вовсе не есть такое уж природное качество почвы, как это может показаться: оно тесно связано с современными общественными отношениями. Земля может быть очень плодородна при обработке под хлеб, и, тем не менее, рыночные цены могут заставить земледельца обратить ее в искусственный луг, и сделать, таким образом, бесплодной.

Г. Прудон изобрел свой кадастр, не могущий равняться даже с обыкновенным кадастром, лишь для того, чтобы воплотить в нем *принципиально-уравнительную* цель ренты.

«Рента, продолжает г. Прудон, есть процент, который платят за никогда не уничтожающийся капитал, то есть за землю. И так как материальный состав этого капитала не может быть увеличен, но может лишь бесконечно улучшаться по отношению к способам употребления, то отсюда вытекает, что, в то время как, вследствие изобилия капиталов, процент за ссуды (*mutuum*) имеет тенденцию постоянно уменьшаться, — рента стремится к постоянному увеличению, так как в результате промышленного совершенствования являются улучшения в обработке земли... Такова рента по своей сущности». (Т. II, ст. 262).

На этот раз г. Прудон видит в ренте все признаки процента, с тем лишь отличием, что она является процентом на особого рода капитал. Этот капитал есть земля, капитал вечный, «материальный состав которого не может увеличиваться, но может лишь бесконечно улучшаться по отношению к способам употребления». В прогрессивном ходе цивилизации процент стремится к постоянному понижению, рента же к повышению. Процент падает в силу изобилия капиталов, рента повышается вследствие технических усовершенствований, в результате которых является все более и более разумное пользование землею.

Такова сущность мнения г. Прудона.

Рассмотрим сперва, насколько можно называть ренту процентом на капитал.

Для самого землевладельца рента есть процент на тот капитал, который заплачен ни за землю, или мог бы быть выручен при ее продаже. Но, продавая или покупая землю, он продает или покупает только ренту. Цена, которую он платит за нее, соразмеряется с общим уровнем процента и не имеет ничего общего с самой природой ренты. Процент на капитал, вложенный в землю, обыкновенно ниже процента на промышленный или торговый капитал. Таким образом, если не отличать от самой ренты процента, приносимого землею ее собственнику, то окажется, что процент с капитала, вложенного в землю, падает еще ниже процента с других капиталов. Но дело идет не о продажной или покупной цене ренты, не об ее денежной стоимости, не о ренте капитализированной, но о ренте самой по себе.

Арендная плата, кроме собственно ренты, может еще заключать

в себе процент на капитал, вложенный в землю. В таком случае, эту часть арендной платы землевладелец получает не в качестве землевладельца, а в качестве капиталиста. Это однако не та рента, в собственном смысле слова, о которой идет речь.

Пока землю не пользуются в качестве средства производства, до тех пор она не представляет собою капитала. Земля-капитал может увеличиваться так же точно, как и другие средства производства. Говоря языком г. Прудона, мы ничего не прибавляем к ее материи, но увеличиваем количество земли, служащей производительным средством. Одними новыми вкладами капиталов в землю, уже служащую средством производства, увеличивается земля-капитал, без всякого увеличения материи, т.-е. земного пространства. Под материей земли г. Прудон понимает землю в ее пространственной ограниченности. Что касается до вечности, приписываемой им земле, то мы ничего не имеем против присвоения ей, как материи, этого качества. Но земля-капитал не более вечна, чем всякий другой капитал.

Золото и серебро, приносящие процент, так же прочны и вечны, как земля. Если цена золота и серебра падает, а цена земли растет, то этим она обязана ни в каком случае не своей, более или менее вечной, природе.

Земля есть основной капитал, но основной капитал также изнашивается, как и оборотный. Улучшенные качества почвы требуют воспроизведения и поддержки; они служат лишь известное время, и в этом отношении совершенно подобны всем другим улучшениям, служащим для превращения материи в средство производства. Если бы земля была вечным капиталом, то некоторые страны имели бы совсем иной вид, чем теперь: Римская Кампанья, Сицилия и Палестина оставались бы такими же цветущими, какими они были в древности.

Могут даже встретиться случаи, когда капитал-земля исчезает, между тем как внесенные в нее улучшения остаются неприкосновенными.

Во-первых, это случается каждый раз, когда рента, в собственном смысле слова, уничтожается вследствие конкуренции новых, более плодородных земель; во-вторых, улучшения, имевшие свою цену в известную эпоху, теряют ее с того момента, когда развитие агрономии делает их всеобщими.

Представителем капитала-земли является не землевладелец, а фермер. Доход, приносимый землею в качестве капитала, — это не рента, а процент и предпринимательская прибыль. Есть земли, которые приносят этот процент и прибыль, не принося ренты.

Словом, земля, приносящая процент, есть капитал, но в качестве капитала она не дает ренты и не образует поземельной собственности. Рента есть результат общественных отношений, среди которых совершается обработка земли. Она не может быть следствием более или менее прочной, более или менее вечной природы земли. Рента обязана своим происхождением не земле, а обществу.

По мнению г. Прудона, «улучшения в обработке земли — следствие

технических усовершенствований — составляют причину постоянного возрастания ренты». Эти улучшения, наоборот, причиняют ее периодическое падение.

В чем состоит вообще всякое улучшение, все равно в земледелии или мануфактуре? В том, что с помощью того же количества труда производится большее количество продуктов, или при меньшем количестве труда производится столько же или даже больше продуктов, чем прежде. Благодаря таким улучшениям, фермеру нет надобности употреблять большее количество труда для приобретения сравнительно меньшего продукта. Ему нет надобности переходить к обработке земель низшего качества, и его последовательные вклады капитала в одну и ту же землю остаются одинаково производительными. Таким образом, в противность мнению г. Прудона, эти улучшения не только не поднимают ренты, но составляют, наоборот, временное препятствие к ее повышению.

Английские землевладельцы семнадцатого века настолько знали эту истину, что боролись против успехов земледелия, опасаясь уменьшения своих доходов. (Смотри Петти, английского экономиста времен Карла II)

## § V. Стачки и рабочие коалиции.

«Никакое увеличение заработной платы не может вести ни к чему иному, кроме повышения цены хлеба, вина и проч., т.-е. к тому же результату, как и недостаток в припасах. Что такое, в самом деле, заработная плата? Это стоимость производства хлеба и проч.; это полная цена всех вещей. Пойдем далее. Заработная плата есть пропорциональность элементов, составляющих богатство и каждый день производительно потребляемых массой рабочих. Поэтому, удвоить заработную плату.... значило бы выдать каждому производителю часть, превышающую доставленный им продукт, что само в себе включает противоречие. Если же повышение захватит лишь небольшую часть промышленности, то оно вызовет всеобщее замешательство в обмене, одним словом *дороговизну*.... Я утверждаю, что за стачками, вызвавшими увеличение заработной платы, не может не последовать *всеобщего возвышения цен*; это так же верно, как дважды два четыре». (Прудон, т. I, ст. 110 и 111).

Из всех этих положений мы не отрицаем только одного: что дважды два четыре.

Во-первых, не может быть *всеобщего вздорожания*. Если цена всех предметов удваивается одновременно с заработной платой, то от этого не происходит никакого изменения цен, а изменяются лишь выражения.

Во-вторых, общее повышение заработной платы никогда не может привести к более или менее общему вздорожанию товаров. В самом деле, если бы все отрасли промышленности употребляли одинаковое количество рабочих по отношению к своему основному капиталу (к орудиям труда),

всеобщее повышение заработной платы повело бы ко всеобщему понижению прибыли, рыночные же цены товаров не потерпели бы никакого изменения.

Но так как отношение ручного труда к основному капиталу не во всех отраслях промышленности одинаково, то отрасли, употребляющие сравнительно больший основной капитал и меньшее число рабочих, принуждены будут раньше или позже понизить цену своих товаров. В противном случае, если бы цена их товаров не понизилась, то их прибыль поднялась бы выше общего уровня прибылей. Ведь машины не получают заработной платы. Поэтому общее повышение заработной платы было бы менее чувствительно для отраслей промышленности, употребляющих сравнительно с другими большее количество машин и меньшее число рабочих. Но повышение той или другой прибыли над общим уровнем, при постоянном стремлении конкуренции к их уравниванию, может быть только временным. Таким образом, помимо некоторых колебаний, общее повышение заработной платы повело бы, вместо общего повышения цен, как думает г. Прудон, к частному понижению, т.-е. к удешевлению рыночных цен товаров, приготовляемых преимущественно при помощи машин<sup>1)</sup>.

Повышение и понижение прибыли и заработной платы выражают лишь пропорцию, в которой капиталисты и рабочие пользуются продуктом рабочего дня, вовсе не влияя, в большинстве случаев, на цену продукта. Но, чтобы «стачки, вызвавшие увеличение заработной платы, вели ко всеобщему увеличению цен и даже к большой дороговизне», — это одна из тех идей, которые могут зародиться лишь в мозгу непонятого поэта.

В Англии стачки постоянно служили поводом к изобретению и применению тех или других новых машин. Машины были, можно сказать, оружием капиталистов против возмущений работников, обладающих известной степенью подготовки. Self-acting mule (автоматический прядильный станок), величайшее изобретение новейшей промышленности, прогнал с поля битвы возмущавшихся прядильщиков. И если бы коалиции и стачки не вели ни к чему, кроме отпора в виде механических изобретений, то и тогда они оказывали бы громадное влияние на развитие промышленности.

«Я читаю, продолжает г. Прудон, в статье г. Леона Фомэ... за сентябрь 1845 г., что с некоторого времени английские рабочие отвыкают от коалиций (прогресс, с которым их, конечно, можно только поздравить); при этом оказывается, что такое улучшение нравственности рабочих является, главным образом, следствием их экономического образования. Не от фабрикантов зависит заработная плата, воскликнул на митинге в Вольтоне один прядильщик. Во время застоя хозяева бывают, так

---

<sup>1)</sup> Во втором томе „Капитала“ мы находим более точную формулировку этого положения: „При всеобщем возвышении заработной платы — говорит Маркс (стр. 331) — цена товаров возвышается в тех отраслях промышленности, в которых главное значение имеет переменный капитал, и падает в тех отраслях, где главную роль играет капитал постоянный“.

сказать, только вкнутом в руках необходимости, и должны быть им волей или неволей. Регулирующим принципом является отношение между спросом и предложением, а над ним хозяева не властны»... А la bonne heure, восклицает г. Прудон, вот, наконец, прекрасно выдрессированные, образцовые рабочие и проч. и проч. Этой беды еще только недоставало Англии, но чрез пролив она не перейдет.» (Т. I, ст. 261 и 262).

Из всех английских городов именно в Больтоне радикализм наиболее развит. Рабочие Больтона известны за самих ярых революционеров. Во время большой агитации против хлебных законов английские фабриканты не считали возможным бороться с землевладельцами, не выдвигая вперед рабочих. Но так как между рабочими и фабрикантами существует не меньшая противоположность интересов, чем между этими последними и землевладельцами, то фабриканты естественно должны были терпеть поражения на митингах рабочих. Что же делали фабриканты? Они организовывали показательные митинги, состоящие по большей части из мастеров, из небольшого числа преданных им рабочих и из *друзей торговли* в собственном смысле этого слова. Когда затем настоящие рабочие пытались проникнуть на эти митинги, — как это было в Больтоне и Манчестере, — чтобы протестовать против таких поддельных демонстраций, им запрещали вход, под тем предлогом, что это были ticket-meetings, то есть митинги, на которые допускаются лишь лица, снабженные входными билетами. Между тем, афиши на стенах объявляли о публичных митингах. Журналы фабрикантов давали напыщенные и подробные отчеты о речах, произносившихся на этих митингах. Нечего и говорить, что все речи принадлежали мастерам. Лондонские газеты перепечатывали их с буквальною точностью. Г. Прудон имел несчастье принять мастеров за настоящих рабочих, и строжайшим образом запретил им переплывать канал.

Если в 1844—1845 годах стало меньше слышно о стачках, так это потому, что 1844—1845 года являются первыми годами процветания английской промышленности с 1837 года. И, тем не менее, ни один из профессиональных союзов (trades-unions) не был распущен.

Послушаем теперь больтонских мастеров. По их мнению, фабриканты не имеют власти над заработной платой, потому что не от них зависит цена продуктов; а цена продукта не зависит от них потому, что они не имеют власти над всемирным рынком. Наши ораторы утверждают, что по этой причине не следует устраивать коалиций с целью вырвать у хозяев увеличение заработной платы. Г. Прудон, наоборот, запрещает коалиции из опасения, чтобы они не привели к повышению заработной платы, что вызвало бы всеобщую дороговизну. Нам нет надобности указывать, что в одном пункте между мастерами и г. Прудоном существует самое трогательное согласие: и он и они думают, что повышение заработной платы равносильно повышению цены продуктов.

По действительному ли досада г. Прудона вызывается опасением дороговизны? Нет. Он сердится на больтонских мастеров просто за то, что они определяют стоимость *спросом и предложением*, и нимало не заботятся о *конституированной стоимости*, о стоимости, достигшей состоя-

ния конституированности, о конституировании стоимости, включая сюда непрерывную обмениваемость и все остальные пропорциональности отношений и отношения пропорциональности, пожалованные нам Иродовеннем.

«Стачка рабочих *противозаконна*; это говорит не только уголовный кодекс, но также и экономическая система и необходимость установленного порядка... Свобода каждого отдельного рабочего располагать своей личностью и своими руками может быть терпима, но общество не может позволить рабочим прибегать, посредством коалиций, к насилию над монополией». (Т. I, ст. 237 и 235).

Г. Прудон старается выдать статью уголовного кодекса за всеобщий и необходимый результат отношений буржуазного производства.

В Англии коалиции дозволены актом парламента, и именно современная экономическая система вынудила парламент издать такой закон. Когда в 1825 году, во время министерства Гескиссона, парламент должен был изменить законодательство, чтобы привести его в большее соответствие с порядком вещей, созданным свободной конкуренцией, он не мог не отменить и всех законов, запрещающих рабочие коалиции. Чем сильнее развивается современная промышленность, тем более является элементов, вызывающих и поддерживающих коалиции, а когда коалиции становятся экономическим фактом, с каждым днем приобретающим все большую и большую устойчивость, то они по необходимости становятся в скором времени фактом законным.

Поэтому, соответствующая статья уголовного кодекса доказывает только, что во время Учредительного Собрания и при Империи крупная промышленность и конкуренция не были еще достаточно развиты.

Экономисты и социалисты <sup>1)</sup> единогласно осуждают коалиции. Разница заключается лишь в мотивировке приговора.

Экономисты говорят рабочим: Не составляйте коалиций. Прибегая к ним, вы задерживаете правильный ход промышленности, мешаєте фабрикантам удовлетворять заказчиков, вносите замешательство в торговлю и ускоряете введение машин, которые, делая бесполезной часть вашего труда, принуждают вас тем самым принимать еще более пониженную заработную плату. К тому же ваши усилия напрасны. Ваша заработная плата всегда будет определяться отношением между спросом на рабочие руки и их предложением; возмущение против вечных законов политической экономии так же смешно, как и опасно.

Социалисты говорят рабочим: Не соединяйтесь в коалиции, так как, в конце концов, что же вы этим выиграете? Повышение заработной платы? Экономисты докажут вам с полной очевидностью, что, даже в случае успеха, за кратковременным выигрышем нескольких грошей, следует новое и уже прочное падение заработной платы. Искусные счетчики высчитают вам, что пройдут целые годы, прежде чем увеличение

---

<sup>1)</sup> То есть социалисты того времени: фурьеристы во Франции и последователи Оуэна в Англии.



заработной платы вознаградит вас лишь за издержки по организации поддержке коалиций. Мы же, в качестве социалистов, скажем вам, что, аже помимо этого денежного вопроса, вы и при коалиции останетесь все акими же рабочими, а ваши хозяева останутся хозяевами. Итак, не объединяйтесь в коалиции, не занимайтесь политикой: ведь устраивать коалиции и значит заниматься политикой.

Экономисты хотят, чтобы рабочие оставались в обществе, каким оно сложилось в настоящее время и было записано и пропечатано экономистами в их учебниках.

Социалисты советуют оставить в покое старое общество, чтобы с тем большею легкостью войти в новое, предуготовленное ими, социалистами, с такою предусмотрительностью.

Но, несмотря ни на тех, ни на других, вопреки учебникам и утопиям, коалиции ни на минуту не переставали идти вперед и увеличиваться вместе с развитием и ростом современной промышленности. Можно даже сказать в настоящее время, что степень развития коалиций в данной стране с точностью указывает место, занимаемое ею в иерархии всемирного рынка. Англия, где промышленность достигла наивысшей степени развития, имеет также самые обширные и наилучшим образом организованные коалиции.

Английские рабочие не остановились на частных коалициях, составившихся в виду стачки и исчезающих вместе с нею. Они создали постоянные союзы, *trades-unions*, которые служат оплотом рабочих в их борьбе против предпринимателей. В настоящее время все эти местные профессиональные союзы имеют соединительный пункт в *Национальной Ассоциации профессиональных союзов* (*National Association of United Trade*), насчитывающей до 80.000 членов и имеющей центральный комитет в Лондоне. Устройство стачек, коалиций, *trades-unions*, шло одновременно с политической борьбой рабочих, составляющих в настоящее время, под именем *чартистов*, большую политическую партию.

Первые попытки рабочих к соединению между собою всегда принимают форму коалиций.

Крупная промышленность скопляет в одном месте массу неизвестных друг другу людей. Конкуренция разъединяет их интересы. Но охрана заработной платы от падения, — этот общий им всем и противоположный хозяйскому интерес, — соединяет рабочих на одной и той же мысли сопротивления: *коалиции*. Таким образом, коалиция всегда имеет двойную цель: прекратить конкуренцию между рабочими, чтобы быть в состоянии общими силами конкурировать с капиталистом. Если первой целью сопротивления являлось лишь поддержание заработной платы, то потом, по мере объединения самих капиталистов на идее обуздания рабочих, отдельные коалиции этих последних формируются в группы и, в виду всегда объединенного капитала, сохранение союза становится для них необходимее самой охраны заработной платы от падения. До какой степени это верно, показывает тот факт, что рабочие, к крайнему удивлению английских экономистов, жертвуют значительной частью своей заработной платы в

пользу союзов, основанных, по мнению этих экономистов, лишь ради заработной платы. В этой борьбе — настоящей междуусобной войне — соединяются и развиваются все необходимые элементы будущих битв. Дойдя до этой ступени, коалиция принимает политический характер.

Экономические отношения превратили сперва массу народонаселения в рабочих. Господство капитала создало для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Такии образом, по отношению к капиталу, масса является уже классом, но сама для себя она еще не класс. В борьбе, намеченной нами лишь в некоторых ее фазисах, сплоченная масса вырабатывается в класс для себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами. Но борьба между классами есть борьба политическая.

В истории буржуазии мы должны различать два фазиса: в первом — она складывалась в класс под господством феодального порядка и абсолютной монархии; во втором, — уже образовавши из себя класс, — она низвергла феодализм и монархию, чтобы из старого общества сделать общество буржуазное. Первый из этих фазисов был длиннее второго и потребовал наибольших усилий. Он тоже начался с частных коалиций против феодальных сеньеров.

Существует не мало исследований, изображающих различные исторические фазисы, пройденные буржуазией, начиная с городских общин до образования из нее самостоятельного класса.

Но когда приходится дать себе ясный отчет относительно стачек, коалиций и других форм, под которыми пролетариат совершает на наших глазах свою классовую организацию, то одних охватывает самый реальный страх, другие выказывают *трансцендентальное* презрение.

Существование угнетенного класса составляет жизненное условие каждого общества, основанного на антагонизме классов. Освобождение угнетенного класса необходимо подразумевает, следовательно, создание нового общества. Возможность этого освобождения является лишь на той ступени развития, когда приобретенные уже производительные силы и существующие общественные учреждения не могут более уживаться рядом. Изю всех орудий производства наибольшую производительную силу представляет сам революционный класс. Организация революционных элементов в класс уже заранее предполагает существование всех тех производительных сил, которые могли зародиться в недрах старого общества.

Значит ли это, что с падением старого общества наступит господство нового класса, выражающееся в новой политической власти? Нет.

Условие освобождение трудящегося класса есть уничтожение всяких классов; также точно, как условием освобождение третьего, буржуазного, сословия было уничтожение всех сословий <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Слово сословие употребляется здесь в историческом смысле сословий феодального государства с определенными, ограниченными сословными привилегиями. Буржуазная революция уничтожила сословия, вместе с их привилегиями. Буржуазное общество знает только классы. Поэтому тот, кто называет пролетариат „четвертым сословием“, впадает в новейшее противоречие с историей. Ф. Э.

Идя по пути своего развития, трудящийся класс заместит старое гражданское общество ассоциацией, исключаящей как классы с их антагонизмом, так и политическую власть в собственном смысле, так как политическая власть есть именно официальное выражение антагонизма классов в гражданском обществе.

А до тех пор антагонизм между пролетариатом и буржуазией останется классовой борьбой, являющейся на крайней степени своего напряжения всесторонней революцией. Да и удивительно ли, что общество, основанное на *противоположности* классов, приходит, в конце концов, к грубому *противоречию*, к физическому столкновению людей.

Не говорите, что социальное движение исключает политическое. Никогда не существовало политического движения, которое не было бы в то же время и социальным.

Только при таком порядке вещей, когда не будет больше классов и классового антагонизма, *социальные эволюции* перестанут быть *политическими революциями*. До тех же пор, накануне каждого полного переустройства общества, последним словом социальной науки будет:

*Война или смерть; кровавая борьба или уничтожение. Такова неотразимая постановка вопроса.* (Жорж Занд).

## Приложение I.

Некоторые наши революционеры по незнанию, под влиянием бакуянистских выдумок—а некоторые наши, зараженные катедер-социализмом профессора (г. Иваиуков и другие), повидимому, с сознательной целью обмана читающей публики, выдают Маркса за сторонника мирного прогресса, приверженца законных способов действий. Одной последней страницы „Ничеты Философии“ было бы вполне достаточно для обнаружения указанной ошибки и для пристыжения названных фальсификаторов, не говоря уже о „Манифесте коммунистической партии“, авторы которого (Энгельс и Маркс) прямо говорят: „Коммунисты считают позорным скрывать свои воззрения и намерения. Они открыто объявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь посредством насильственного испровержения всего современного общественного строя“ Но мы считаем излишним привести здесь, кроме того, отрывок из речи Маркса, произнесенной им перед кельпскими присяжными 9 февраля 1849 года. Наш автор обвинялся в воззвании к вооруженному сопротивлению тем правительственным чиновникам, которые явились бы за сбором налогов, вопреки постановлению Берлинского Национального Собрания. В своей защитительной речи Маркс касается вопроса о законности, и решает его далеко не в смысле наших катедер-социалистов.

„Воспользуемся этим случаем, господа, чтобы присмотреться к тому, что называется *законной почвой*, говорит он. Я тем более считаю себя вынужденным сделать это, что нас справедливо считают *врагами законной почвы*...“

„Что понимаете вы, господа, под сохранением законной почвы? Сохранение законов, которые принадлежат отжившей общественной эпохе, которые были изданы представителями исчезнувших или исчезающих общественных интересов, а следовательно, обеспечивают только эти, противоречащие общественным потребностям, интересы.“

„Но общество основывается не на законе; это выдумка юристов.“

„Скорее закон должен основываться на обществе, он должен служить выражением и обеспечением, против произвола отдельных личностей, тех общественных интересов, которые вытекают из материальных способов производства данного времени.“

„У меня в руке Code Napoléon. Не этот кодекс породил современное буржуазное общество. Возникшее в XVIII и продолжавшее разви-

ваться в XIX веке, буржуазное общество нашло в нем лишь свое юридическое выражение. Как скоро этот кодекс перестанет соответствовать общественным отношениям, он будет представлять собою не более, как сверток бумаги. Нельзя положить старые законы в основу нового общественного развития, точно так же, как эти старые законы не могли создать старого, выраженного в них строя.

„Эти законы выросли из старого строя; с ним должны они исчезнуть. Они необходимо должны изменяться вместе с изменяющимися жизненными отношениями. Сохранение старых законов в ущерб новым нуждам и потребностям общественного развития есть, в сущности, не что иное, как поддержание несвоевременных частных интересов в ущерб соответствующему времени общественному интересу.

„*Это сохранение законной почвы* означает стремление сделать эти частные интересы *господствующими*, в то время, как они уже *перестали господствовать*; оно означает стремление навязать обществу законы, осужденные жизненными отношениями этого общества, материальными условиями его существования, его обменом и производством; оно означает стремление удержать законодателя в области защиты этих частных интересов; оно означает стремление злоупотреблять государственной властью для насильственного подчинения интересов большинства интересам меньшинства. Оно ежеминутно приходит, следовательно, в противоречие с существующими потребностями, оно стесняет обмен, промышленность, оно подготавливает те *общественные кризисы*, которые обнаруживаются в *политических революциях*.

„Таков истинный смысл привязанности к законной почве и сохранения законной почвы... Эта фраза основывается или на сознательном обмане или на бессознательном самообольщении...“

## Приложение II.

(Из сочинения Маркса: «Zur Kritik der politischen Oekonomie».

Берлин 1859 г., ст. 61—64).

Теория рабочего времени, как непосредственного мерила денег, была впервые систематически развита Джоном Грэем <sup>1)</sup>.

Он предлагает устроить национальный банк, который выдавал бы, чрез посредство своих отделений, свидетельства с обозначением рабочего времени, употребленного на производство различных товаров. В обмен за товар производитель получает официальное удостоверение его стоимости, т.-е. расписку в получении рабочего времени, заключающегося в товаре <sup>2)</sup>. Эти банковые билеты *в 1 рабочую неделю, в 1 рабочий день, 1 рабочий час и т. д.* служат, в то же время, ассигновками на получение эквивалента в виде какого бы то ни было другого товара. сложенного в магазинах банка <sup>3)</sup>. Таков основной принцип, старательно проведенный во всех подробностях и повсюду опирающийся на существующие английские учреждения. При этой системе, говорит Грэй, продавать за деньги было бы всегда так же легко, как теперь покупать за них; производство сделалось бы равномерным и никогда не иссякаю-

---

<sup>1)</sup> *John Gray: The Social System etc. Treatise on the Principle of Exchange.* Эдинбург 1831. Сравн. с произведением того же автора: „Lectures on the nature and use of money. Эдинбург 1848“. После Февральской революции Грэй послал французскому Временному Правительству мемуар, в котором сообщал ему, что Франция нуждается не в „организации труда“, а в „организации обмена“, причем в изобретенной им системе денег имеется вполне выработанный план этой организации. Честный Джон и не подозревал, что через 16 лет после появления его „Social System“ патент на то же самое открытие будет получен изобретательным Прудоном.

<sup>2)</sup> *Gray, The Social System etc., p. 63.* „Money should be merely a receipt, an evidence that the holder of it has either contributed certain value to the national stock of wealth, or that he has acquired a right to the same value from some one who has contributed to it“.

<sup>3)</sup> „An estimated value being previously put upon produce let it be lodged in a bank. and drawn out again, whenever it is required merely stipulating, by common consent, that he who lodges any kind of property in the National Bank, may take out of it an equal value of whatever it may contain instead of being obliged to draw out the self same thing that he put in“ l. c., ctp. 68.

щим источником спроса“ 4). Благородные металлы потеряли бы свою привиллегию по отношению к другим товарам и „заняли бы на рынке подобающее им место, рядом с маслом, яйцами, платками и колеником, причем их стоимость интересовала бы нас так же мало, как стоимость бриллиантов“ 5). Должны ли мы удержать наше искусственное мерило стоимости, золото,—и сковать, таким образом, производительные силы страны, или должны обратиться к естественному мерилу стоимости труду, и освободить эти производительные силы?“ 6).

Если рабочее время есть внутреннее мерило стоимости, то почему рядом с ним существует еще другое, внешнее мерило? Почему меновая стоимость развивается в цену? Почему все товары оценивают свою стоимость в одном исключительном товаре, который становится, таким образом, единственным вместилищем меновой стоимости — деньгами? Такова была задача, которую предстояло решить Грэю. Вместо решения, он вообразил, что товары могут непосредственно относиться друг к другу, как продукты общественного труда. Но относиться друг к другу они могут лишь в качестве того, что представляют собою в действительности. Непосредственно, товар является продуктом единичного, независимого частного труда, который должен еще удостоверить свое значение труда общественного чрез отчуждение в процессе частного обмена, или, другими словами: труд на основе товарного производства становится общественным трудом лишь чрез всестороннее отчуждение продуктов индивидуального труда. Но Грэй признает заключающееся в товаре рабочее время за *непосредственно-общественное*, — следовательно, считает его общим рабочим временем людей, соединенных в ассоциацию. В таком случае, специфический товар, как золото и серебро, действительно не мог бы противопоставляться другим товарам в качестве воплощения общественного труда; меновая стоимость не становилась бы ценою, но и потребительная стоимость не превращалась бы в меновую, продукт не был бы товаром, и таким образом самые основы буржуазного производства были бы устранены. Но не так думает Грэй. *Продукты должны производиться как товары, но не должны обмениваться как товары.*

Выполнение своих добрых намерений Грэй предоставляет национальному банку. С одной стороны, через посредство банка, общество уничтожает зависимость индивидуумов от условий частного обмена, с другой—оно оставляет их продолжать производство на основе частного обмена. Логика заставляет однако Грэя отрицать одно условие буржуазного производства за другим, хотя его цель ограничивается лишь „реформой“ денег, выросших из обмена товаров. Так, капитал превращается у него в национальный капитал 7), поземельная собственность

4) I. c., стр. 16.

5) Gray, Lectures on money etc., стр. 182.

6) I. c., стр. 169.

7) „The business of every country ought to be conducted on a national capital“. (John Gray, The social system etc., стр. 71).

в национальную собственность <sup>8)</sup>, и если хорошенько присмотреться к его банку, то окажется, что он не ограничивается простым приемом товаров и выдачей квитанций за доставленный труд, но регулирует самое производство. В своем последнем произведении, „Lectures on money“, где Грэй настойчиво пытается представить свои рабочие деньги, как чисто-буржуазную реформу, он запутывается в еще более вопиющих противоречиях.

Каждый товар есть деньги,—такова теория Грэя, выведенная им из неполного, а потому ложного анализа товара. „Органическое“ построение „рабочих денег“, „национальный банк“ и „товарные склады“—все это лишь прикрасы, долженствующие выставить догмат в качестве господствующего мирового закона. Догмат, гласящий, что товар есть непосредственные деньги, или что содержащийся в нем частный труд отдельных индивидуумов есть непосредственно общественный труд,—этот догмат не сделается, конечно, верным от того, что в него уверует банк и будет сообразовать с ним свои операции. В таком случае банкротство сыграло бы роль практического критика. Выраженное в звучащей экономически фразе о рабочих деньгах благочестивое желание избавиться от денег, вместе с деньгами от меновой стоимости, вместе с меновой стоимостью от товара, а вместе с товаром и от буржуазных форм производства,—это желание, скрытое у Грэя, и неясное ему самому, прямо высказывается некоторыми английскими социалистами, писавшими отчасти прежде, отчасти после Грэя <sup>9)</sup>. Но лишь г. Прудону и его школе предназначено было серьезно проповедывать, что сущность социализма заключается в деградации денег и в возвеличении товара—и тем свести социализм к элементарнейшему непониманию необходимой связи между товаром и деньгами <sup>10)</sup>.

---

<sup>8)</sup> „The land to be transformed into national property“. (I. c., стр. 298.)

<sup>9)</sup> См., наприм., *W. Thompson, An Inquiry into the distribution of wealth etc.* London 1827. *Bray, Labour's wrongs and labour's remedy*, Leeds 1839.

<sup>10)</sup> Руководством к этой мелодраматической теории денег может служить произведение *Alfred Darimon, De la Reforme des banques*, Париж 1856 г.



## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие Фридриха Энгельса . . . . .	III
Письмо К. Маркса к Анненкову . . . . .	X
Карл Маркс о Прудоне (из берлинского „Социал-демократа“, 1865 г.) XXVII	
Предисловие Маркса . . . . .	37
Глава первая. Научное открытие:	
§ 1. Противоположность потребительной и меновой стоимостей.	39
§ 2. Стоимость конституированная или стоимость синтетическая . . . . .	47
§ 3. Приложение закона пропорциональности стоимостей:	
А. Деньги . . . . .	72
Б. Излишек труда . . . . .	79
Глава вторая. Метафизика политической экономии:	
§ I. Метод . . . . .	88
§ II. Разделение труда и машины . . . . .	104
§ III. Конкуренция и монополия . . . . .	116
§ IV. Собственность или рента . . . . .	122
§ V. Стачки и рабочие коалиции . . . . .	130
<i>Приложение I.</i> Из речи Маркса перед судом присяжных в Кельне . . . . .	137
<i>Приложение II.</i> Из сочинения Маркса „Zur Kritik der Politischen Oekonomie“, Берлин 1859 . . . . .	139